

**Федеральное государственное бюджетное  
образовательное учреждение высшего образования  
«Пятигорский государственный университет»**

**В.П. ЛИТВИНОВ**

# **ГЕРМЕНЕВТИЧЕСКИЕ ОПЫТЫ**

**Пятигорск 2018**

УДК 1(091)  
ББК 87.3  
Л 64

Печатается по решению  
редакционно-издательского  
совета ФГБОУ ВО «Пятигорский  
государственный университет»

**Герменевтические опыты– 2018.** Монография. – Пятигорск: ПГУ, 2018. – 147 с.

В новой книге известного лингвиста и методолога В.П. Литвинова представлены его новые изыскания по герменевтике сложных текстов разного характера. Аналитика текстов Фомы Аквинского, Ноама Хомского и Александра Галича может представить интерес для лингвистов, культурологов, методологов науки, как и для гуманитариев широкого профиля. Три текста докладов в проблемных семинарах разных периодов дополняют фоновое знание о «конструктивной герменевтике» Литвинова и его пятигорской школы. «Приложение» содержит информацию об учёном, нигде прежде в такой полноте не представленную.

**Отв. редактор:** доцент, кандидат экономических наук, заведующий кафедрой инноватики, маркетинга и рекламы ФГБОУ ВО «ПГУ» **А.Г. Авшаров.**

**Рецензенты:** профессор, доктор экономических наук, ректор ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный университет» **А.П. Горбунов;**

профессор, доктор филологических наук, профессор кафедры инноватики, маркетинга и рекламы ФГБОУ ВО «ПГУ», **В.И. Шульженко.**

ISBN 978-5-4220-0979-4

© ФГБОУ ВО «Пятигорский  
государственный университет», 2018

## Содержание

От автора.....	4
Предисловие к монографии В.П. Литвинова .....	5
<b>1. ОПЫТЫ</b> .....	7
Респонзивное мышление .....	8
Понять Хомского (опыт респонзивного чтения) .....	20
Польская тема в «Балладе о вечном огне» Александра Галича .....	64
Заготовки к работе «Социально востребованная ложь как контекст мышления».....	86
<b>2. ИЗ МАТЕРИАЛОВ ПЯТИГОРСКИХ ПРОБЛЕМНЫХ СЕМИНАРОВ (ДОМАШНИЕ ЗАГОТОВКИ К ВЫСТУПЛЕНИЯМ)</b> .....	103
«Я» в методологическом семинаре .....	104
Специфика герменевтических проблем.....	110
Понимаемое .....	116
<b>3. ПРИЛОЖЕНИЯ</b> .....	126
Самореклама для сарафанной википедии.....	127
Список научных трудов В.П. Литвинова.....	134

## От автора

*В эту книгу включены только тексты, ранее не публиковавшиеся. Лишь немногие читатели могут знать их из Интернета (сайт Инны Воробей [inuaz-surgut.ru](http://inuaz-surgut.ru)). Издательское право принадлежит мне и Пятигорскому государственному университету. В первом разделе - новые статьи (очерки) последних трёх лет, во втором - выступления в проблемных семинарах разных лет в том же вузе, когда он ещё был Пятигорским государственным лингвистическим университетом, реконструированные на основе домашних заготовок.*

*Выражаю сердечную признательность ректорату и редакционно-издательскому совету Пятигорского государственного университета, кафедре инноватики, маркетинга и рекламы рекомендовавшей эту книгу к изданию, а также моих коллег Арсена Генриховича Авшарова и Валентину Фёдоровну Белову, инициаторов этой важной для меня публикации.*

Сентябрь 2018 г.

В.П. Литвинов

## Предисловие к монографии В.П. Литвинова

Перед вами очередная – и, как всегда, необычная и интересная – книга профессора Виктора Петровича Литвинова, крупного современного мыслителя, лингвиста и методолога.

Новая книга профессора В.П. Литвинова отличается от его прежних десяти книг. Если прежние книги чётко соответствовали жанру монографии или университетского пособия, то нынешняя формально представляет собой сборник статей. Автор не замыслил эту книгу как целое, жизненные обстоятельства в последние годы позволяли ему производить лишь частичные научные тексты и заготовки для возможных последующих работ. Идея объединить представленные в книге материалы принадлежит кафедре под руководством А.Г. Авшарова и поддержана руководством Пятигорского государственного университета, в котором состоялся творческий путь В.П. Литвинова. В каком-то особом смысле этот набор текстов можно рассматривать как монографический.

Что может быть общего между схоластическим трактатом тринадцатого века, последней версией генеративной лингвистики Хомского и балладой Галича? Как могут составить единое целое эта философия, эта наука и эта поэзия? В данном случае их объединяет то, что профессор Литвинов принял каждое из этих произведений как вызов для собственного мышления и отвечает на этот вызов так, как было намечено еще в проекте «Инновационный университет как научный центр» руководимой им Группы проектирования инноваций тогда Пятигорского государственного лингвистического университета (Третий научный отчёт Группы в монографии: **Литвинов В.П.** Проектирование будущего университета – ПГЛУ, 2010, с. 148 и далее, с принципиальной схемой на с. 177).

Проект, принятый в ПГЛУ/ПГУ к дальнейшей разработке и внедрению, предполагает в этой части открытость данного вуза ко всем значительным мыслительным трендам современности в науке, методологии, герменевтике, а также в реальной практике, оснащённой требовательным и преобразующим мышлением. Закономерно, что бренд ПГУ – это «Университет, открывающий и преобразующий мир!».

При этом открытость не подразумевает согласия со всеми; во всех направлениях профессором В.П. Литвиновым схематически постулирована «ироническая дистанция». Она же, с другой стороны, не только не означает отрицание всего «чужого», но, напротив, предполагает понимающее отношение к разным формам рациональности и картинам мира и, на этой основе, самоопределение университетского учёного, так сказать, мыслящего «респонзивно» и очень продуктивно.

Тексты В.П. Литвинова, представленные в настоящем издании, могут считаться показательными примерами, как можно здесь и сейчас с поль-

зой читать и понимать совместно и совместимо «несовременного» Фому Аквинского, «неадекватного» Ноама Хомского, «неполиткорректного» Александра Галича, не делая при этом их искусственно «современными», «адекватными» и «политкорректными» в удобном для нас смысле.

И поэтому широко обсуждаемый ныне вопрос о «тотальной лжи современного мира» в подходе В.П. Литвинова (в его именно «конструктивной герменевтике») решается не как этическая или политическая проблема, а как **методологическая задача** проектирования социальных институтов, которые «не лгут». В этой связи важны положения, содержащиеся в разработанном группой В.П. Литвинова, проекте будущего университета, о «реалистическом идеализме инновационного мышления» и об «императиве содержательности» для программ гуманитарных технологий. Уже несколько лет назад Виктор Петрович остро ставил вопрос о необходимости истинной содержательности в работе передового университета и его важнейшей задаче – научить мыслить и предсказывал, что если университеты отойдут от этой своей главной задачи, то они превратятся просто в большие профтехучилища. К сожалению, во многих случаях так и произошло.


Приняв этот набор статей В.П. Литвинова как часть его дальнейшей работы по проектированию нового университета, мы можем читать этот набор как монографию. Одновременно это часть его исследовательской работы по теме «Мышление», главной теме его жизни в науке. Вторая часть книги содержит заново отредактированные автором тексты его выступлений в рамках пятигорских методологических семинаров трёх разных периодов его творчества. И поскольку данные о В.П. Литвинове, рассеянные в Интернете, случайны, фрагментарны, а в отдельных случаях некорректны, мы посчитали уместным опубликовать в этом издании его ироничную «Саморекламу» и список его опубликованных работ.

Пользуюсь вместе с тем этим случаем новой публикации Виктора Петровича Литвинова; чтобы ещё и ещё раз подчеркнуть, что наш университет высоко ценит его творческое наследие, а к самому автору, который для многих из нас является Учителем с большой буквы и вообще-то Учителем Учителей и Ученых – что есть наивысший уровень – относится с глубочайшим уважением. Желаем Виктору Петровичу дальнейших творческих успехов.

*ректор Пятигорского государственного  
университета, профессор,*

*Председатель Совета ректоров вузов*

*Северо-Кавказского федерального округа,*

*Вице-президент Российского Союза ректоров*  *А.П. Горбунов*

# 1. ОПЫТЫ

## РЕСПОНЗИВНОЕ МЫШЛЕНИЕ

Понятие «responsive Rationalität» введено Бернхардом Вальденфельсом [Waldenfels 1987: 46-48, 178; 1991: 27]. Для герменевтических анализов понимающего чтения оно представляется мне даже более содержательным, чем выражение «работа понимания», привычное в отечественной герменевтике.

В работе понимания граница проводится нами для того, чтобы её переступить, не преодолевая [Waldenfels 1991: 26]. Респонзивное мышление оперирует на этой границе. Наше логическое (т.е. верой в универсальный логос обоснованное) упование, что по ту сторону границы, на «чужой территории», есть где стать, на практике оправдывается. Чужое может быть понято, если приложить достаточные усилия ума; а с «той стороны» обращённым взглядом понимается своё, как такое, которое «могло бы быть и другим». Полилогос принципиально переводим в монолог в результате коммуникативной инициативы; но из этого не следует, что мир в целом моно-логичен. Любое монологизированное пространство имеет границу, за которой логос мог бы быть другим, и выход туда требует новой работы ума. С этой точки зрения установленный на освоенном пространстве порядок смысла (логос) должен пониматься не как естественный порядок, а как искусственный, созданный коммуникацией. Всякая за-граница условна, а логос искусствен.

Абсолютная заграница может полагаться лишь логически. Например, «исключённое третье» в двузначной логике находится за абсолютным пределом мира, поскольку нами положено вне мыслимости. Это - не нечто, оставленный снаружи за дверью (как замечает Вальденфельс в [Waldenfels 1991: 29]), а то, чего по разуму «не может быть никогда». Но это исключение третьего безусловно только в координатах данного разума, этой логики. Вне формализованных систем и утверждение, что чего-то быть не может, и противоположное ему, что может быть всё, одинаково бессмысленны. Есть порядок своего и порядок чужого, и как они различены, это зависит от того, где и как проведена граница.

Но абсолютная заграница может быть временным состоянием, некоторой нулевой точкой коммуникации. Например, инопланетянин Джон М., понимающий землянина в мыслительном эксперименте Хомского [Chomsky 1988: 41-46], начинает - якобы - с нуля. Правда, ему не очень трудно, потому что он научно мыслит, как Хомский [Литвинов 1999: 74-75]; за ним стоит абсолютный транспланетный логос. Так это



задано Хомским. Когда аналогичный мыслительный приём применил Г.П. Щедровицкий в своих лекциях 1971 года, его «марсианин» по условию «не владеет нашей деятельностью». Но ему приписывается способность «видеть не только материальные вещи, но и духовные структуры» [Щедровицкий 2005: 100-104], он может непосредственно наблюдать смысл, а отсюда предлагается обращённым взглядом понять землянина как «не такого». Землянин владеет деятельностью и прорывается к смыслу иначе. Отсюда Щедровицкий разворачивает свою феноменологию смысла и значения.

Я предлагаю рассмотреть другую ситуацию, тоже в порядке мыслительного эксперимента. Представим себе современного читателя, который вообще-то коммуникативно оспособлен, но встречается со стародавним текстом, в котором не видит никакого смысла, хотя все слова в тексте нормально воспринимаются по значению. Таким текстом сегодня может быть, например, трактат Фомы Аквинского 1255 года «О сущем и сущности» (*De ente et essentia* [Thomas 1983]). Текст считается классическим. Между прочим, трудность может начаться с названия: субстантивированное причастие «сущее» в латыни имеет категорию числа: *ens - entis*; здесь в названии множественное число.

В отличие от фундаментальной «Суммы теологии» того же Фомы, которая может служить примером последовательной диалогизации мысли, в этом трактате нигде и никаким образом не предполагается, что можно помыслить тот или иной предмет как-то иначе. Текст производит впечатление абсолютно некоммуникативного. Присмотримся к первым абзацам трактата Фомы:

#### PROLOGUS

Quia parvus error in principio magnus est in fine secundum Philosophum in I Celi et mundi, ens autem et essentia sunt que primo intellectu concipiuntur, ut dicit Avicenna in principio sue Methafisice, ideo ne ex eorum ignorantia errare contingat, ad horum difficultatem aperiendam dicendum est quid nomine essentie et entis significetur, et quomodo se habeat ad intentiones logicas, scilicet genus, speciem et differentiam.

#### Перевод: ПРОЛОГ

Поскольку маленькая ошибка в начале становится большой в конце, согласно Философу в кн. 1 «Неба и земли», а сущее и сущность суть то, что прежде всего схватывается разумом, как говорит Авиценна в начале своей «Метафизики», то, стало быть, следует, дабы из незнания оных не случилось заблуждения, для устранения проистекающих из них трудностей сказать, что обозначается именами «сущность» и «сущее», и каким образом [сущность] обнаруживается в различных

[вещах], и как она относится к логическим понятиям, а именно к роду, виду и различию.

Quia vero ex compositis simplicium cognitionem accipere debemus et ex posterioribus in priora devenire, ut a facilioribus incipientes convenientior fiat disciplina, ideo ex significatione entis ad significationem essentie procedendum est.

Перевод: Поскольку же постижение простого мы должны извлечь из составного и от более позднего прийти к более раннему, стало быть надо, дабы подход от лёгкого был сообразен [делу], следовать от значения сущего к значению сущности.

#### CAPITULUM I

Sciendum est igitur quod, sicut in V Methafisice Philosophus dicit, ens per se dupliciter dicitur: uno modo quod dividitur per decem genera, alio modo quod significat propositionum veritatem. Horum autem differentia est quia secundo modo potest dici ens omne illud de quo affirmativa propositio formari potest, etiam si illud in re nichil ponat; per quem modum privationes et negationes entia dicuntur: dicimus enim quod affirmatio est opposite negationi, et quod cecitas est in oculo. Sed primo modo non potest dici ens nisi quod aliquid in re ponit; unde primo modo cecitas et huiusmodi non sunt entia...

#### Перевод: ГЛАВА 1

Знать же следует, что, как в книге V «Метафизики» говорит Философ, сущее как таковое может высказываться двояко: одним образом так, что оно разбивается на десять родов, другим так, что оно обозначает истину высказываний. Различие же между тем и другим в том, что по второму способу может называться сущим всё, о чём можно образовать утвердительное высказывание, даже если оно на самом деле ничего не полагает; каковым образом высказываются отъятия и отрицания сущего; говорим же мы, что утверждение *есть* противоположно отрицанию, и что слепота *есть* в глазу. Но первым образом нельзя сказать нечто, ничего не полагая действительным; то есть, первым образом слепота и тому подобное не есть сущее.

...

Поскольку наш предполагаемый читатель, как сказано, коммуникативно оспособлен, он знает начальные условия чтения. В данном случае он должен провести некоторые границы: Фома - это не я; латинский язык - не русский язык; тринадцатый век - не двадцатый век. Он готов прочерчивать и другие границы, если понадобится, например: Европа - это не Россия, но сейчас пока неизвестно, являются ли эти дальнейшие отграничения герменевтически релевантными. Учтя,

что Фома Аквинский в своём XIII веке мог писать «Философ» с заглавной буквы, имея в виду Аристотеля, и «Комментатор» с заглавной буквы, имея в виду Аверроэса, и что латинское *intentio* именно в XIII веке могло быть синонимом «понятия» и «значения» (поскольку оно использовалось для перевода слова *tama* в арабских текстах), и что вообще латинская лексика в текстах мыслителей могла претерпевать сдвиги (*dicere* «говорить» → «мыслить, понимать»; *ponere* «полагать» → «иметь в виду», «мыслить нечто» и др.), наш читатель прочитывает этот текст как связный, полностью вычерпывая его содержание. И в этом месте он обнаруживает, что не видит в тексте смысла. Текст Фомы нашему читателю ничего не говорит, хотя читатель честно выполнил стандартные условия взаимодействия (коммуникации) с текстом.

Текст начинается с силлогизма, включающего двойную посылку и вывод: «Поскольку **a** и **b**, то **c**». Известно, что было известно уже в XIII веке, что такая форма вывода предполагает не только истинность «a» и «b», но и их соединимость и достаточность для обоснования «c». Для нашего читателя «a» (от Аристотеля) не кажется безусловным, «b» (от Авиценны) не кажется содержательным, ибо оно истинно лишь в некотором смысле, но не вообще, а соединение «a» и «b» **не** приводит с необходимостью к выводу «c», даже если учесть промежуточную посылку «Мы хотим избежать большой ошибки в главном», которая в тексте Фомы явно домысливается. Современный читатель знает, что практический вывод делается из практических посылок, и отошлёт Фому на переобучение к Аристотелю, у которого было разработано понятие практического силлогизма, - ибо данный случай к нему не подходит. При таком чтении текста Фомы его придётся просто определить как беспомощный и не заслуживающий чтения. Но ведь это - тот самый Фома Аквинский!

Коммуникативно оспособленный читатель знает, что тексты не адаптивны, адаптивен читатель. Об этом - острота Лихтенберга: «Если сталкиваются голова и книга и раздаётся пустой звук, то это не обязательно книга». Эта малая герменевтическая ситуация достаточно часто переживается, но редко описывается, поскольку нам кажется достойным сообщения то, что мы поняли, а не то, через что мы прошли на пути к пониманию. Однако Томас Кун рассказал про показательный случай из своего опыта. Он долгое время не мог читать «Физику» Аристотеля, поскольку его университетское образование профессионального физика говорило ему, что аристотелевский текст - совершенная бессмыслица. Но оставалось беспокойство, связанное с тем, что это - тот самый Аристотель, автор того самого «Органона», он не мог напи-

сать бессмыслицу. Кун смог прочитать эту «Физику», когда догадался, что она - про другое и в совсем другом логическом пространстве, чем то, в котором идёт мысль современного физика. Требовалось понять, что все слова в этом тексте значат не то, чего мы от них ожидаем, зная слова по нашим словарям. Текст Аристотеля заговорил. И читатель понял, что с этого момента он - герменевт [Kuhn 1977: XI-XIII].

Вернёмся к нашему экспериментальному читателю. Пусть он воспользуется опытом Куна. Предположить, однако, что этот текст - «не про то», неосновательно: разумеется, и «сущее» (*ens, to òv*), и «сущность» (*essentia*) - это те самые понятия аристотелевской метафизики, о которых наш читатель подумал вначале (и он ни о чём другом в этой связи подумать не мог). Логические выражения *quia* «поскольку», *ideo* «следовательно», *unde* «из чего (вытекает)», связка *est* «есть» и т.п. в течение веков не меняли своего смысла в аргументативных контекстах. Но что-то странное в языке этого трактата всё-таки будет: слово «бытие», *ens* здесь может употребляться во множественном числе, слов «мышление» и «сознание» нет вообще, но есть «разум» (*intellectus*) и «душа» (*anima*); далее, нет глагола «понимать», но есть недифференцированный глагол умопостижения *intelligere* и некоторые другие «интеллектуальные» предикаты, а слова класса «говорить» легко переосмысливаются как «мыслить» или «понимать». У нашего читателя уже была догадка на этот счёт, но пока что она ему существенно не помогла.

Продолжая движение по тексту в надежде, что последующее изложение поможет прояснить начало, наш читатель вновь оказывается озадачен, когда в первом предложении первой главы нужно понять «двоякое высказывание сущего», причём если *secundo modo* речь идёт о высказывании, как мы его понимаем (и как мы понимаем латинское слово *propositio*), то предложенное *primo modo*, по нашему разумению мира и языка, никак не может быть отнесено к «высказыванию» чего-либо. (Наш читатель уже согласился с возможностью сочетания «высказывать сущее», но это ещё не самый трудный момент). *Primo modo* речь идёт о десяти категориях Аристотеля. Они должны быть поняты как одна из манер «высказывать сущее». Опять, по афоризму Лихтенберга, «раздаётся пустой звук».

Видимо, вопрос «Так ли я читаю?» здесь недостаточен для продвижения по тексту. Нужна другая рефлексия: «Так ли я мыслю?». Читатель мог бы предположить, что Фома по недоразумению употребляет «высказывать» (*dicere*) вместо «мыслить» или «понимать» (*intelligere*), - но ведь это - тот самый Фома! Очевидно, это я должен, заимствуя пози-

цию моего экспериментального читателя, осуществить следующий шаг адаптации к тексту, а не от Фомы ждать, что он возьмёт назад свои слова. Понимая в терминах конца XX века, что десять категорий, как и любое другое прочтение этого текста, относятся к парадигматике умопостигаемого мира, а утвердительные и отрицательные высказывания, проверяемые на истинность и ложность, должны быть отнесены к синтагматике коммуникативных процессов, читатель скажет себе: «Конечно, в современных терминах речь у Фомы идёт о мышлении в формах мыслимости. Но что это значит на чужой для нас территории, в тексте Фомы Аквинского, в логосе, соединяющем аристотелизм и христианство?». С этим саморефлексивным актом читатель не просто мыслит респонзивно на границе своего и чужого, но начинает понимать саму границу. Он должен на своё мышление посмотреть так, чтобы оно «могло быть и другим», а для этого переступает черту и попадает туда, где мыслят так, как Фома в этом трактате. Он начинает читать коммуникативно текст, вроде бы не рассчитанный на коммуникацию (в нём ведь нигде нет указания, как надо читать и как при этом мыслить).

Закрепиться на чужой смысловой территории, значит занять там некоторую позицию, позволяющую понимать текст так, как он понимается там тогда. А это значит спросить себя, как это могло или должно было прочитываться современниками Фомы в Париже. Мы вспоминаем, что это был богословский текст, хотя это может казаться странным сегодняшнему читателю. Теперь читатель обращённым взглядом должен понять своё естественное мышление с точки зрения современника Фомы, для которого странно, что для нас странно не видеть, что этот текст - богословский. Мы привыкли думать, что ссылки на авторитет в мыслительной работе имеют нулевую доказательную силу, а для него это значит, что у нас «нет ничего святого». Он-то считает самым сильным доводом ссылку на Писание, но также и на правомочных трансляторов мудрости Писания. И будь ты хоть язычник по имени Аристотель, но если ты канонизирован, ты тем самым как бы зачислен в ряд правомочных трансляторов высшей мудрости.

Процесс респонзивного мышления (т.е., напомним, мышления, отвечающего на вызов со стороны чужого) у нас пошёл столь быстро, что имеет смысл на этом месте задержаться и понять нашу меняющуюся читательскую ситуацию. Следует поразмыслить: а) над непонятным употреблением глагола *dicere*; б) над непонятной претензией текста на теологичность; и в) над всё ещё непонятной претензией начального силлогизма на состоятельность. Поскольку наш экспериментальный

читатель уже начал мыслить респонзивно, он пройдёт этот путь до конца, мы можем за него не беспокоиться, но только при условии, что разгадка для этих загадок в принципе возможна (т.е., что эта чужая территория - не «абсолютная граница»).

(а) Проблема глаголов интеллектуальной деятельности остаётся плохо исследованной и даже плохо осмысленной, хотя диссертация [Цуканова 1995], как представляется, указывает направление возможного прорыва. Предложенный в ней герменевтико-семасиологический метод позволяет исследовать философское слово не в рамках языка как системы единиц, а в рамках текста-дискурса; философский язык - не терминологическая система. При этом подходе возможности интеллектуальных глаголов определяются всякий раз своим пространством мышления, а не определениями толковых словарей, даже включая историко-философские. Е.Г. Цуканова (Болдышева) позднее опубликовала специальную статью об этом методе [Болдышева 1999], на которую откликнулась Т.В. Лопырёва, заострив внимание на вопросах, «при каких условиях становится возможным, что в слово или понятие вкладывается тот или иной смысл, что текст имеет содержание, что высказывание несёт мысль своего создателя» [Лопырёва 2000: 46]. Сравним с этим содержательные, но методологически не оспособленные размышления в герменевтике XVII - XVIII веков, охарактеризованные в «Герменевтике» Г.Г. Шпета [1989; 1990]. Здесь история герменевтики по сути смыкается с историей «герменевтической семантологии» в смысле Лопырёвой.

В христианской метафизике «в начале было Слово», по-латински: *In principio erat Verbum*, и это «слово-*verbum*» переводит «логос-*λόγος*» греческого оригинала. «Логос» же для Фомы не разделялся на его версию у Аристотеля и версию у евангелиста Иоанна: «логос-вербум-слово» было порождающим началом всего, было Богом, и с этим этимологическим оправданием логика должна была быть наукой о Боге-Логосе. Этого, конечно, недостаточно для соединения христианства с Аристотелем, хотя такого рода аргументация не была лишней в том контексте. Но главное для нас в этом наблюдении - то обстоятельство, что мысль берётся (в точности по Аристотелю) как выговариваемая мысль, а это делает глагол *dicere* возможной базой для развёртывания понятия мышления без введения дополнительного термина. Другие моменты текста Фомы проясняются аналогичным соображением: например, использование слова *ratione (aliquis)* «понятие (чего-л.)», когда речь идёт о конституции самого феномена, подразумевая его внутреннюю разумность.

Сравним *ratione essentie* «понятие сущности», когда речь идёт об

устройстве сущности [Thomas 66] или: *Nec potest aliquis dicere quod intelligibilitatem non impediatur materia quaelibet, sed materia corporalis tantum. Si enim hoc esset ratione materie corporalis tantum...* <etc> «Но никто не может сказать, что не любая материя, а лишь телесная материя препятствует познаваемости. Ибо если бы дело было только в понятии телесной материи... <и т.д.> [Thomas 42]. Здесь *ratione* - и рассудок, понятие, и порядок логоса, и на мой взгляд переводчики не облегчают, а лишь усложняют углубление в текст, когда опускают слово *ratione* на другом языке, как это сделано в цитируемом издании (So kann aber niemand sagen, dass nicht jede beliebige Materie, sondern nur die körperliche Materie der Erkennbarkeit im Wege steht. Wenn nämlich dies nur wegen der körperlichen Materie wäre... [Thomas 43]).

(б) Однако же это толкование достаточно лишь при условии, что текст «De ente et essentia» понимается как богословский. Все наши справочники говорят нам (и нашему экспериментальному читателю), что это так и есть. Фома с пятилетнего возраста воспитывался в бенедиктинском монастыре в Монте-Кассино, в двадцатилетнем возрасте вступил в доминиканский орден проповедников, обучен на теологическом факультете богословом Альбертом Великим и всю свою жизнь посвятил служению христианству и христианскому образованию. Этим историческим данным сегодня может противоречить только сам текст трактата.

В этом трактате нет ни одной ссылки на Священное писание. В трактате не обсуждается вера. В трактате лишь дважды употреблено слово «Бог», причём один раз в проблематичном контексте, заслуживающем цитирования: *Hiis igitur visis, patet quomodo essentia in diversis invenitur. Invenitur enim triplex modus habendi essentiam in sudstantiis. Aliquid enim est sicut Deus cuius essentia est ipsummet suum esse...* «Теперь, когда это усмотрено, явствует, каким образом сущность обнаруживается в разном. А именно, есть три способа обладания сущностью у субстанций. Нечто в частности есть вроде Бога (*sicut Deus!*), сущность которого есть то же, что его бытие...» [Thomas 54-56]. В остальном дух (*intelligentia*) определяется как форма и бытие без материи, а форму дух имеет не от природы, а получает от «первого сущего», каковое есть «лишь бытие» и «первопричина, каковая и есть Бог» (*...intelligentia est forma et esse, et [quod] esse habet a primo ente quod est esse tantum, et hoc est causa prima que Deus est* [Thomas 50]).

По сути, Бог определён как место в логической системе и не упоминается по имени без крайней необходимости. В мышлении логика нам это понятно, но как понять это в мышлении теолога? Мы пытаемся

представить себе аналогичный текст-акт в сегодняшнем богословии и невольно спрашиваем, не заслуживает ли он подозрение в атеизме. При этом мы должны думать не о позиции восточной церкви, так как здесь Фома не был канонизирован, и здесь не было этапа схоластики. Но этот текст похож на безбожный именно по критериям современного католического богословия. Здесь опять крайне важно не стереть границу между своим и чужим, веком двадцатым и веком тринадцатым. Канонизирован текст, сыгравший свою роль в богословии XIII века, и его историко-теологический статус закреплён интерпретациями.

Но для нашего читателя остаётся открытым вопрос, каким образом этот текст со всеми отмеченными свойствами может выражать теологическую интенцию, и здесь он снова должен искать ответы с позиции XIII века. Ф. Мейстер, один из издателей и комментаторов этого текста в Германии (F. Meister «Vom Sein und von der Wesenheit», Freiburg i. Br. 1955) поясняет: «По отношению к Богу беспомощна вся человеческая способность обозначения и сила языка. Ибо точно так же можно было бы сказать, что Бог не имеет бытия, потому что его сущность и есть его бытие. Человеческий язык не срабатывает, потому что способен осуществлять обозначение в тех логических классах, которые получаются при отражении и представлении составных субстанций с их слабой и шаткой причастностью к бытию: в попытках рода и вида. Для бытия же, которое, как божественное, не причащено к бытию, а само есть бытие, логические классы недействительны» (цитируется по послесловию в: [Thomas 1983: 95]). И истинно благоговейное отношение к Богу истинному возбраняет употребление его имени всуе, о нём приличествует говорить, например, так, как говорит Фома в последних словах этого трактата:

*Sic ergo patet quomodo essentia est in substantiis et accidentibus, et quomodo in substantiis compositis et simplicibus, et qualiter in his omnibus intentiones universales logice inveniuntur; excepto primo quod est in fine simplicitatis, cui non convenit ratio generis aut speciei et per consequens nec diffinitio propter suam simplicitatem: in quo sit finis et consummatio huius sermonis. Amen [Thomas, 76-78]*

Перевод: Итак, ясно, каким образом сущность есть в субстанциях и акциденциях, и каким образом в составных и простых субстанциях, и как в них всех обнаруживаются общие понятия; за исключением первого, завершающего пустоту, которому не присуще понятие рода или вида, а значит и определение, соответствующее его простоте: в нём да будет конец и итог настоящего изложения. Аминь.

Аминь, «истинно так». В **Нём** - изложение, а тем самым мысль-ло-



гос **Еро** мыслящего слуги, в мышлении посильно представляющего **Еро** в мире. Это, естественно, богословие.

Соединение христианского вероучения с логической культурой в схоластике не было предопределённым событием, но сама его возможность должна быть понята. «Быть христианином - значит быть логиком», этот принцип наш читатель знал, но теперь он должен его ещё и понять. В нашем контексте достаточно, видимо, указания на то, что история христианской доктрины связана с гигантской мыслительной работой по соединению двух Заветов, что фактически было освоением самой масштабной в культурной истории герменевтической ситуации. Отсюда особая роль мыслительного совершенствования христианина в общей концепции иерархизированного совершенства; заимствование Аристотеля через арабскую науку было в этом контексте естественным, - оно, как известно, ограничено рамками римско-католической конфессии. Но, - скажет наш читатель, - логика вместо учения о Боге - это всё же другое, чем логика вместе с учением о Боге. Однако не следует ли поправить себя: может быть, это только кажется, что «вместо»?

Трактат Фомы, изъятый из пространства христианских мыслительных поисков века, читается как просто философская логика. Это так же верно и так же естественно, как то, что елей, вынесенный из храма, - не более чем масло. Предмет есть по сути то, что он есть в соответствующем ему пространстве содержания: «сорняк» в пространстве полеводческой практики, «елей» в пространстве богослужения, «богословский» трактат Фомы Аквинского - в пространстве схоластического мышления. Читатель должен помыслить себя в этом пространстве «по ту стороны границы», и теологическое содержание трактата не будет вызывать сомнений.

(в) Когда возможность теологического прочтения этого трактата становится ясной, его начальный силлогизм перестаёт казаться странным. Если этот текст принадлежит к жанру философской догматики, то и читать его следует догматически. При этом философская догматика должна пониматься опять же не в нововременном смысле, как, например, в немецком богословии в период его расцвета в XIX веке (ср. великолепное введение [Lange 1849]), а в обращении понятия догмы на обстоятельства схоластического периода. Это значит, что в нашем силлогизме «а» и «b» **принимаются как истинные**, а «с» **следует** из «а» и «b», **потому что так надо**. Иначе говоря, «а», «b» и «с» понимаются именно таким образом, **чтобы** силлогизм был правильным. По этой причине текст построен как некоммуникативный, он задаёт по-

рядок мысли, а не обсуждает его. В рамках этого подхода Аристотель и Авиценна - непроблематизируемые авторитеты христианской мысли, ибо, как логики тогдашнего времени, они представляют божественный логос. Так надо. Комментатор же (Аверроэс) может ошибаться, см. замечание Фомы [Thomas, 38], а Авицеброн, противоречащий Философу [Thomas, 42], должен быть решительно оспорен; тем более это касается платоников, пантеистов и прочей ереси. На практике Фома, как известно, был авторитетом в дискуссиях «традиционных» теологов против аверроистов (Сигер Брабантский и др.) в Парижском университете. С обеих сторон выступали логики, а различались они порядком и степенью строгости догмы.

\* \* \*

Анатомирование фактов затруднённого чтения показывает нам примерно такую действительность респонзивного мышления, как в нашем эксперименте. Я интерпретирую её в контексте моей проблематики пространств содержания, от которых ожидается обоснование смысла через экспликацию условий его возможности. Каждая модификация пространства содержания есть тем самым проведение другой границы между тем, что моё (уже моё), и тем, что чужое (и должно быть понято как чужое, а не моё).

Абсолютной заграницы такое мышление не предполагает. Граница проводится для того, чтобы её переступить, а это означает поиск позиции по ту сторону границы. Поняв чужое, мы не теряем своё, мы его релятивируем. И мы при этом не присваиваем чужое; например, у нас нет применения для смыслового содержания трактата Фомы в нашей собственной действительности. Но чтение и понимание не обязаны служить применению или разрешению наших жизненных ситуаций; разрешение нашей читательской (или шире: коммуникативной) ситуации не нуждается во внешнем оправдании практическими или социальными целями.

### ***Цитированные источники***

1. Болдышева Е.Г. Герменевтико-семаσιологический метод // Атриум. Серия «Филология». 1999. № 1. С. 48-54.
2. Литвинов В.П. Мышление Ноама Хомского: Курс лекций. Тольятти: Международная академия бизнеса и банковского дела, 1999. 116 с.
3. Лопырёва Т.В. Герменевтическая семантология // Атриум. Серия «Филология». 2000. № 6. С. 46-50.
4. Цуканова Е.Г. Глаголы «понимать» / «познавать» и их объекты в языке немецкой философии (И. Кант, Г.В.Ф. Гегель, Л. Фейербах, К.

- Маркс): дисс. ... канд. филол. наук. Пятигорск: ПГПИИЯ, 1995.
5. Шпет Г.Г. Герменевтика и её проблемы // Контекст-1989. Литературно-теоретические исследования. Ред. А.В. Михайлов. М.: Наука, 1989. С. 219-259.
  6. Шпет Г.Г. Герменевтика и её проблемы // Контекст-1990. Литературно-теоретические исследования. Ред. А.В. Михайлов. М.: Наука, 1990. С. 215-255.
  7. Щедровицкий Г.П. Знак и деятельность. Кн. 1. Структура знака: смысл, значение, знание. М.: Восточная литература, 2005. 463 с.
  8. Chomsky, Noam. Language and Problems of Knowledge. The Managua Lectures. Cambridge, Mass. & London, 1988. X + 205 p.
  9. Kuhn, Thomas. The Essential Tension. Selected Studies in Scientific Tradition and Change. Chicago & London: The Chicago University Press, 1977. XXIII + 366 p.
  10. Lange, Johann Peter. Philosophische Dogmatik. Heidelberg: Carl Winter, 1849. IV + 666 S.
  11. Thomas von Aquin. De ente et essentia. Das Seiende und das Wesen. Lateinisch/Deutsch. Stuttgart: Philipp Reclam jun., 1983. 118 S.
  12. Waldenfels, Bernhard. Ordnung im Zwielficht. Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 1987. 261 S.
  13. Waldenfels, Bernhard. Der Stachel des Fremden. Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 1991. 275 S.

## ПОНЯТЬ ХОМСКОГО (ОПЫТ РЕСПОНЗИВНОГО ЧТЕНИЯ)

В 2005 году я опубликовал неприятную статью «Германское языкознание сегодня» [Литвинов 2005], которая по прошествии 13 лет беспокоит меня своей особенной недоговоренностью. Я сделал в ней обзор коллективных монографий европейских германистов 2000 - 2002 годов и показал, что теоретики германистики в Европе, в отличие от России, почти поголовно переходят на позиции генеративной лингвистики, старательно вычерпывая потенциал новейших идей Ноама Хомского («Минималистская программа» 1995 года и далее; «Пофазовая деривация» 2001 года и далее); и они пишут, за редким исключением, по-английски. А это значит, что их мышление движется в горизонте английского языка генеративной лингвистики, а мы от них «отстаём». При этом я заметил, что в будущем - это естественно - возможна смена ориентации (кто напишет убедительный трактат «Chomsky's fundamental error?»), но и в этом случае будет неумно говорить, что мы «это» заранее знали. Дело в том, что авангардом останутся они, накопившие опыт великого отклонения или великой ошибки лингвистики, а мы со своей «правотой» останемся бедными. Но в этой связи уместно было бы поставить и разработать некоторые вопросы методологического рода. Такое продолжение мысли 2005 года по объёму будет значительно превосходить исходный текст с незавершённой мыслью.

Надо бы понять мышление Хомского начала XXI века, то есть не просто прочесть и понять эти тексты, а понять их как момент судьбы лингвистического разума; результат этого уразумения можно будет проецировать на публикации европейских германистов, если мы к этому моменту не потеряем к ним интерес.

Для этого надо выбрать текст или пассаж (один или больше), который имеет смысл читать реконструктивно, т.е. герменевтически, или, как говорит Б. Вальденфельс, «респонзивно». В респонзивной установке мы принимаем текст Хомского как вызов для нашей мысли, однако он будет отвечать на наши вопросы ссылками на свои основания и свою историю мышления.

Значит, надо будет понять, как из начального импульса раннего поиска Хомского сложилось то, что он теперь называет «биолингвистикой», но считает, между прочим, не биологией, а собственно лингвистикой. (Автор термина - Лайл Дженкинс [Jenkins 2000], который ввёл его в 1999 году именно как характеристику лингвистики Хомского.) Одновременно нам придётся реконструировать в общих чертах историю рецепции идей Хомского в Европе и России. Не будем исклю-

чать, что попутно придётся решать какие-то задачи более частного рода.

Берём текст Хомского «Minimalist inquiries: The framework» [Chomsky 2000b]. (Все читаемые нами пассажи из этой статьи выделяем полужирным курсивом.) Здесь Хомский, через 5 лет после выхода в свет «Минималистской программы» [Chomsky 1995], обсуждает эту новую версию генеративизма и, между прочим, вводит понятие «фазы» для теории синтаксиса. Позднее будут более специальные статьи «Пофазовая деривация» [Chomsky 2001] и «О фазах» [Chomsky 2008] и обсуждение этой новации в книге интервью с Джеймсом МакГилвреем [Chomsky 2012]. Но наш выбор определяется не тем, что новее, а достаточно точным изложением позиции и идеи автора; именно это мы находим в первой части названной публикации 2000 года.

Пропускаем вводный пассаж, читаем начало первой части (1. Background): ***Let us begin by reviewing briefly a series of assumptions, discussed and qualified elsewhere. First, there is a faculty of language FL, a component of the human mind/brain dedicated to language*** (p. 89). Современный читатель уже знает (я надеюсь), что у Хомского *language faculty* «способность к языку» - не то же самое, что *linguistic competence* «знание языка». Способность к языку утверждается не по отношению к носителю языка, а по отношению к человеку как биологическому виду. Но сказано, что эта способность (заметим: врождённая!) является компонентом чего-то когнитивного, названного здесь *human mind/brain*. Мы достаточно образованны, чтобы не путать «сознание» и «мозг», а Хомский их явно склеивает в один объект. Этот кентавр-объект здесь не объясняется, потому что Хомский это выражение употребляет давно и может исходить из того, что его читатели к нему привыкли и не задают лишних вопросов. Здесь - камень преткновения для нашего чтения, но это наша проблема, у читателей-генеративистов её нет. Совокупный Хомский 70-90-х гг. XX века фактически разъясняет: есть (потому что обязательно должна быть!) система-интерфейс между сознанием и мозгом, но мы при нынешнем состоянии психологии и биологии ничего не знаем об устройстве этого интерфейса, поэтому не будем маяться дурью, а обозначим этот важный для нас референт склеенным понятием «сознание/мозг». Наука ведь должна отвечать на те вопросы, которые она принимает как разрешимые в принципе, а не те, которые где-то за его сегодняшним горизонтом. С позиции его обновлённой концепции в XXI веке Хомский, видимо, посчитал бы мои формулировки неточными и мог бы настаивать на особом тождестве мозга и сознания; мы ещё обратимся к этим новым мотивам. Если чи-

татель не согласен с этим совмещением понятий, он может дальше не читать. Мы хотим читать дальше, поэтому принимаем навязанное нам понятие (?) «mind/brain», не углубляясь в тонкости.

Но если я достаточно начитан в отечественной психологии, потрудился понять работы М. Мерло-Понти и Г.П. Щедровицкого с углублённой разработкой вопросов о сознании и мышлении, и если я сам предметно анализировал проблемы сознания, мышления и их понятийных контекстов [Литвинов 2008b; 2007] и даже интерпретировал гуманитарное мышление Щедровицкого [Литвинов 2008a], то как мне вести диалог с этим Хомским, который говорит о своих «допущениях» (assumptions), где-то ещё как-то обсуждённых? При этом в науке о языке Хомский значит больше, чем кто-либо из современников, а что значу я, его актуальный читатель, вроде бы разносторонне компетентный? Похоже, мне пора включить вопрос о сути респонзивного мышления, чтобы потом вернуться к начатому понимающему чтению избранного текста.

Буду честен, признаю, что лингвистика Хомского для меня, как и для большинства лингвистов России - чужая область, она за границей нашего работающего логоса. «Респонзивная рациональность» - выражение, введённое немецким феноменологом Бернхардом Вальденфельсом именовано в контексте обсуждения «Своего - Чужого» и границ между разными пространствами миропонимания и связанного с ним мироустройства [Waldenfels 1987; 1990]. Различая «такое» и «не такое», мы по случаю констатируем, что «другое» не может осваиваться и описываться в привычном для нас логическом пространстве, т.е. в тех же терминах-понятиях, которые мы свободно используем при описании «такого». Это «другое» мы теперь определяем как «чужое», и если наши термины-понятия образуют систему, в которой для «чужого» не может быть найдено место, мы тем самым задержались на границе между двумя понятийными пространствами. По эту сторону - «Своё», а если нам удаётся переступить границу и начать уразумевать «Чужое», то с этой новой точки зрения уже «Своё» оказывается за границей, оно «не такое». И это значит, между прочим, что привычное «Своё» могло бы быть и иным, чем мы раньше думали, считая его «естественным». Эту область работы в Германии определили как «ксенологию», т.е. «знание о Чужом». Респонзивная рациональность - мышление по поводу чужого, которое мы приняли как вызов для нашего понимания и мышления.

Продолжим движение по тексту Хомского: что он говорит далее о FL как «компоненте *mind/brain*, предназначенном языку?»

***Given this endowment, a human infant, but not her pet kitten, will***

***reflexively categorize parts of the confusion around her as 'linguistic' and develop rich and highly articulated capacities to enter into these peculiar modes of human thought and action. In contrast, the infant and kitten will, it seems, develop along a rather similar path in acquiring capacities to deal with many other aspects of the world*** [p. 89-90].

Перевод: «Наделённый этим даром человеческий ребёнок, но не её [*her*] котёнок, будет рефлексивно категоризовать части беспорядка вокруг неё как 'языковые' и разовьёт богатые и весьма артикулированные возможности входа в эти своеобразные способы человеческого мышления и действия. Напротив, и ребёнок, и котёнок, как представляется, будут развиваться далее по сходной траектории, осваивая возможности иметь дело с прочими аспектами мира». Перевожу коряво, потому что стремлюсь к буквализму. - О чём этот пассаж, какая это наука? В Европе это называют «философской антропологией» в традиции Шелера, Плесснера, Тейяра де Шардена; в известной мере Хомский мог бы быть эффективным участником обсуждения «человека» в их проблемном поле, как показано в [Литвинов 1999]. Но Хомский в эти дискуссии входить не намеревался, см. его замечание о бесконечности «объекта человек» и его, следовательно, научной бессодержательности: человек - не *natural kind* [Chomsky 2000a: 20-21]. Итак, цитированный нами пассаж - не теория человека, а замечаемые на переходе моменты обсуждаемого предмета и, напомню, не более чем «допущение». Однако в антропологии Хомский, как сказано в моей цитированной статье, «заглянул за горизонт», где стал спрашивать о действительности возможности (каким образом действительна FL?), и сам Хомский, как бы отвечая на мою статью (которую он не знал), в 1997 году опубликовал статью, а в 2000 году публикует книгу под названием «Новые горизонты в изучении языка и сознания/мышления» (*New Horizons in the study of language and mind* [Chomsky 2000a]), которую нам придётся обсуждать, потому что в ней *mind/brain, faculty of language, study of mind* и прочие непонятные вещи трактуются обстоятельно, а в читаемой нами статье даны сжато.

Продолжаем чтение: ***Like other organs, FL has an 'initial state'  $S_0$  that is an expression of the genes.*** - «Читатель» озадачен? Но мы взяли читать, поэтому принимаем допущение о том, что в человеческом организме есть орган FL, и это надо понимать не метафорически, а дословно: «как и другие органы, FL имеет начальное состояние  $S_0$ », которое заложено в нас генетически, а Хомский говорит резко: оно есть «выражение генов». В руайомонской дискуссии 1975 года на вопрос психолога Грегори Бейтсона «Вы считаете, что язык - орган?» Хомский

ответил: «Я считаю, что пока мы говорим метафорами, эта метафора лучше, чем те, что использовались до сих пор» [Piattelli-Palmarini 1980: 76]. И вот теперь вопрос «Метафора или не метафора?» можно снять. *Expression of the genes*. Мы уже перестали думать о «языке - системе знаков» и «средстве общения», потом к этому можно будет вернуться, а пока идём за мыслью Хомского, естественнонаучно заточенного лингвиста: ***To a good first approximation, it is uniform for the species (единообразно для человеческого вида), apparently also biologically isolated in essential respects and a very recent evolutionary development.*** - После Дарвина нам привычно понимать человека как примата со способностью к языку. Но развитие мысли Ч. Дарвина, уже в его время не вполне новой, может идти разными путями. Например, способность к языку может быть биологическим свойством человеческого стада, а не человеческой особи; если так, то именно язык преобразует стадность в социальность. Хомский же прямолинейно приписывает FL индивиду. А далее: ***FL undergoes state changes under triggering and shaping influences of the environment. If Jones's FL is in state S, we say that Jones has (speaks, knows,...) the (l-)language L.*** (p. 90)

Предполагаемому автору будущего трактата «Chomsky's fundamental error» могу в этом месте дать подсказку. Скажите, что Хомский недопустимо заужает свой предмет, упоминая *triggering and shaping influences* только как среду для системы (простите, профессор Хомский, Вы сказали бы «органа») *faculty of language*. Между тем, триггерная среда - это и есть действительный язык, в который этот Джонс должен вращаться, становясь носителем L. Язык всегда уже есть. Хомский это, естественно, знает. Но это для него - не природная действительность. А язык, который в Джонсе прорастает как орган, развиваясь до состояния  $S = L$ , имеет биологическую природу. Наука же, не *humanities*, а *science*, т.е. «естественная», не «гуманитарная», изучает природные объекты, а не бесконечно разнообразную действительность человеческого мира. Как сказано в "New horizons..." [Chomsky 2000a: 20-21], there is no reason to suppose that there is a "natural kind human being". Ну да, скажет критик, похожий на меня, а все объекты естественных наук - продукты работы нашего мышления в мире деятельности, и исследовать идеальные объекты, изъятые из мира - это как минимум несовременно. Но не надо считать Хомского малограмотным и совсем уже далёким от методологии. Сравним его пассаж из «Новых горизонтов»: «Even the most elementary notions, such as namable things, crucially involve such intricate notions as human agency. What we take as objects, how we refer to them and describe them, and the array of properties



with which we invest them, depend on their place in the matrix of human actions, interests, and intent in respects that lie far outside the potential range of naturalistic inquiry» [Chomsky 2000a: 21]. В нашем отечестве «натурализм» и «натуралистический подход» могут использоваться как отрицательные ярлыки для оппонента в интеллектуальных дискуссиях, но Хомский в этой суете не участвует. Он прямо заявляет свой подход как натуралистический и даже последовательно очищает его от всякого «дуализма» [Chomsky 2000a: 75-105].

На дискуссии в Руайомоне в 1975 году Жан Пиаже соглашался с тем, что что-то такое человеку врождено, но признал это неинтересным на фоне актуальных проблем познания формирующегося человека. Хомский же, напротив, выносит за скобки любые как угодно интересные вопросы о человеке, если их нельзя привести к натуральному объекту, а натуральный объект, как и в других науках, есть продукт идеализации, среза по реальному объекту «человек». А как же «язык»? Берите, говорит Хомский, не *language*, а *I-language*, т.е. *internalized & individual & intensional*, и именно как результат развития от  $S_0$  к  $S$ , от FL к L. А как же «mind» (и «thought», и «consciousness»), которые Хомский обсуждает в связи с FL и L? Они природны? Хомский не уклоняется от таких вопросов. Он отвечает утвердительно.

Когда-то название ранней книги Хомского «Language and mind» (1968) перевели на русский язык как «Язык и мышление». Как этот переводчик перевёл бы теперь его книжку «Language and thought»? А после неё - «New horizons in the study of language and mind»? Что такое *mind*? Хомский говорит: By “mind”, I mean the mental aspects of the world, with no concern for defining the notion more closely and no expectation that we will find some interesting kind of unity or boundaries..., и чуть далее: I keep here to the human mind (visual systems, reasoning, language, etc.) [Chomsky 2000a: 75]. И это сказано натуралистом? Смотрим в другом его тексте из того же набора: I would like to discuss an approach to the mind that considers language and similar phenomena to be elements of the natural world, to be studied by ordinary methods of empirical inquiry [ibid: 106].

В читаемом нами тексте Хомский повторяет своё известное уточнение: ***We understand Universal Grammar (UG) to be the theory of the initial state, and particular grammars to be the theories of attained states*** [Chomsky 2000b: 90]. Критик может обратить внимание на то, что после «Аспектов теории синтаксиса» 1965 года Хомский больше не делал описаний отдельных языков, и более того, его последователи-генеративисты тоже этого не делали. Начиная с «теории управления и

связывания» (Government and Binding Theory) 1980-х годов произошла такая смена ориентиров в их лингвистике, что понятия «правила грамматики», «структура фразы», «глубинные и поверхностные структуры» начали выбывать из их категориального языка. Говоря о «теориях обретенных состояний», мы уже не должны думать об изготовлении грамматик, хотя исследование конструктивных явлений, связанных с «выбором параметров универсальной грамматики» в языках, считается достойным занятием.

Далее в читаемой статье идёт речь об осуществлении языка L, т.е. ставшего I-language. «Я принимаю далее», говорит Хомский, ***that L provides information to the performance systems in the form of 'levels of representation', in the technical sense. The performance systems access these 'interface levels'. Assume further that performance systems are of two kinds: sensorimotor systems and systems of thought (to give a name for something poorly understood). Let us take them (tentatively) to be unitary and distinct, in the sense that all sensorimotor systems access one interface level, and all systems of thought access a distinct interface level. On these assumptions we understand L to be a device that generates expressions  $Exp = \langle Phon, Sem \rangle$ , where Phon provides the 'instructions' for sensorimotor systems and Sem the 'instructions' for systems of thought - information about sound and meaning, respectively, where 'sound' and 'meaning' are understood in internalist terms, 'externalizable' for language use by the performance systems*** (p. 90-91).

Наша трудность в чтении и понимании этого текста частично связана с тем, что мы компетентные лингвисты, «знающие», что язык - «система знаков», а именно двусторонних, с «планом выражения» и «планом содержания», как говорил Луи Ельмслев, хорошо знакомый Хомскому европейский авторитет. Отношения выражения и содержания в принципе произвольны, но закреплены системой. Иначе говоря, в других выражениях уже была мысль об интерфейсе между интерфейсами. Надо ли было Хомскому наворачивать эти интерналистские допущения, которые усложняют традиционные представления структуралистов, рассуждать о выражении, которое ещё не выражение, и содержании, которое ещё не содержание? Рассуждая так, читатель всё ещё пребывает по эту сторону демаркационной линии, которую он пытался провести между собой и генеративизмом. Но если он готов сместить свой горизонт, он должен, как говорит Вальденфельс [Waldenfels 1990: 26-27], переступить границу, не преодолевая её. Говоря ещё иначе, в манере Мерло-Понти (напр. [Merleau-Ponty 1945: 219-220]), нужно не отвергать чужое, но и не делать себя другим под его влиянием, а

благодарно присвоить чужое, сделать его частью своего достояния в качестве не-своего.

Мы помним, что связи «выражения» и «содержания» у Соссюра и Ельмслева мыслятся как социальные обыкновения, а в натуральном объекте FL, реально проявляющем себя косвенно, как поразительная быстрота освоения языка человеком-ребёнком, произвольные сочетания в интерфейсе следует исключить. Таковые могут учреждаться в социуме, а мы ищем, что по природе врождено индивиду. Отсюда вопрос об «оптимальном дизайне FL», к этому вопросу нас приведёт читаемый текст.

***The language L includes a cognitive system that stores information*** (это метафора или не метафора?); ***roughly, information about sound, meaning, and structural organization. Performance systems*** (т.е., заметим для нашего читателя, не только системы проявления языка в человеческом поведении или, шире, жизнедеятельности, но и их предвосхищения в структуре FL) ***access this information and put it to use. Empirical questions arise at once: in particular, to what extent are the performance systems part of FL, that is, language-dedicated, specifically adapted for language? On the 'sound side' the answer is unclear and disputed; on the 'meaning side' the questions are much harder and more obscure for obvious reasons, and judgments can only be highly tentative. A standard working assumption is that performance systems are external to FL*** (как, между прочим, принимали для семантики дескриптивисты во главе с Блумфилдом, как мы помним). ***That may well be, perhaps in important ways. The issues here had little effect on empirical inquiry into questions of descriptive and explanatory adequacy*** (проблема в рамках «Аспектов теории синтаксиса»), ***but come to the fore within the Minimalist Program.***

***I will adopt usual conventions for present purposes, recognizing that they are not innocent. I therefore take L to be a cognitive system alone...*** (р. 90)

Это, между прочим, к сведению наших модных когнитивистов, сплошь и рядом приверженных идеализму сознания/мышления. Хомский, давший в 1950-е годы импульс «второй когнитивной революции», был и остаётся когнитивистом отнюдь не в их смысле. Он - жёсткий реалист.

Что важно понять из последнего цитированного пассажа? В потенциальном языке есть информация, предназначенная для фонетики (или графики), информация для семантики (можно ли здесь сказать: для смыслообразования?) и информация для комбинирования выра-

жений и содержаний. О первых и вторых спрашивается, относятся ли они к языку в качестве «части FL», или они другие? Может быть, социальные обыкновения, как в «знаке» Соссюра? Соссюр исключал из «системы язык» фонетику, хотя вынужден был её домысливать; Блумфилд исключал из лингвистического материала семантику, хотя домысливал её как функциональное предназначение языковых форм. Поставленные Хомским в этом месте вопросы не новы, хотя в ранней версии «стандартной теории» трансформационной грамматики важнее были вопросы «описания и объяснения». Теперь же те давние вопросы надо ставить в новом контексте, потому что они «не безобидны». И принимается решение в духе «имманентной лингвистики» структуралиста Ельмслева: язык - «единственная когнитивная система».

Поскольку же произвольные соединения выражения и содержания указывают на социальные установления, а искать надо согласную с ними природную действительность, то следует вопрос, один из центральных (если не единственный центральный) в «Минималистской программе» 1995 года и её дальнейшем развитии: об оптимальном дизайне FL (здесь с. 92 и след.). Насколько «совершенен» этот «орган», как найти формализмы, описывающие его в лингвистических понятиях как «совершенный»? Читаем: ***If the question is real, and subject to inquiry*** (Заметим, что сказано «если!»), ***then the P&P approach*** (подход «Принципы и параметры», заявленный и реализованный в рамках Теории управления и связывания, но не отвергнутый и в Минималистской программе) ***might turn out to be an even more radical break from the tradition than it seemed to be. Not only does it abandon traditional conceptions of 'rule of grammar' and 'grammatical construction' that were carried over in some form into generative grammar, but it may also set the stage for asking novel questions that have no real counterpart in the earlier study of language.*** - И он продолжает:

***The Minimalist Program is the attempt to formulate and study such questions. One should bear in mind that it is a program, not a theory, even less so than the P&P approach. There are minimalist questions but no minimalist answers, apart from those found in pursuing the program; perhaps that it makes no sense, or that it makes sense but is premature. The program presupposes the common goal of all inquiry into language - to discover the right theory - and asks further why language is that way...*** (p. 92).

Переведём этот пассаж, стараясь держаться как можно ближе к оригинальному тексту: «Если вопрос реален, и [если] подлежит исследованию, тогда ПП-подход может оказаться ещё более радикальным

разрывом с традицией, чем казалось. Не только отвергаются концепции 'правила грамматики' и 'грамматической конструкции', которые в какой-то форме были занесены в генеративную грамматику, но он [этот подход. В.Л.] может заложить основу для полагания новых вопросов, не имеющих реального соответствия в прежнем изучении языка.

Минималистская программа - это попытка формулировать и исследовать такие вопросы. Следует помнить, что это - программа, а не теория, ещё менее, чем [был теорией] ПП-подход. Есть минималистские вопросы, но нет минималистских ответов, кроме тех, что найдутся в преследовании программы; может быть, это не имеет смысла, или имеет смысл, но преждевременный. Программа предполагает общую цель всех исследований языка - открыть верную теорию - и далее спросить, почему язык [вообще] такой...» (Конец переведённого пассажа)

Далее следуют разделы 2 и 3 «Design specifications» и «Architecture», в которых, в частности, появится и новое понятие «фазы». Задержимся на этой черте и спросим себя, как мы поняли концептуальное введение в статью и насколько мы готовы к дальнейшему чтению.

Прежде всего, мы поняли, что Хомский - не филолог. Мы, правда, тоже не склонны говорить «Мы - филологи», но всё же лингвист в России - кандидат или доктор «филологических наук», изучавший свой главный язык и литературу на нём, а также историю этого языка, и ещё, наверное, латынь. Наш лингвист, изучивший «историю лингвистических учений» и «методы лингвистического анализа», осваивает науку о языке, ориентируясь на диссертационный совет по германским, или романским, или тюркским и т.д. языкам, а есть ещё советы по русистике, а если при этом он использует материал более чем одного языка, его проводят как «типолога», даже если он типологии как таковой не знает. Более того, программы подготовки лингвистов в России не могут легко меняться по произволу вуза или кафедры. То есть, тот факт, что генеративная лингвистика не получила серьёзной разработки в России, а также, что современная лингвистическая типология у нас разрабатывается в академических институтах и не разрабатывается в вузах, объясняется не убожеством учёных, а социальной организацией науки.

В других странах положение может как угодно отличаться от нашего, но и там (к счастью) далеко не все исследователи языка - генеративисты, и вопрос о респонзивном понимании Хомского может быть для них актуальным. Не понимать Хомского - значит не быть современным лингвистом; но быть современным лингвистом не значит быть генеративистом, потому что «новее ничего нет». С методологической

точки зрения, мыслитель Хомский проблематичен и, к слову сказать, истинно велик в своей проблематичности.

Как в этой связи мы должны понять себя в этом опыте «респонзивного чтения»? В рефлексивной задержке я замечаю, что читатель текста Хомского удваивается: кроме автора настоящего текста, Читателя-герменевта с достаточной по условию замысла компетенцией критического аналитика, предполагается Читатель-студент, для которого осуществляется моё критико-герменевтическое понимание. Я называю его «студентом» по месту в моей функциональной схеме, хотя надо при этом иметь в виду прежде всего выпускника специального факультета с достаточным знанием теоретической грамматики, истории лингвистических учений и, в минимально достаточном объёме, истории философии. В магистратуре или аспирантуре он может (или может его научный руководитель) посчитать, что надо что-то почерпнуть из генеративной лингвистики, а значит - читать и понимать Хомского. Этот случай я молчаливо предполагал в начале настоящего текста.

Читатель-герменевт ставит вопросы о смысле, каких не ставит Читатель-учёный или Читатель-студент. Для герменевта выражения «первая когнитивная революция» и «вторая когнитивная революция» представляют двойную задачу: а) понять, что тем самым имеется в виду; б) понять человека, который в своей мыслительной ситуации начинает употреблять эти выражения и продолжает использовать их как программные в течение полувека. Под «первой когнитивной революцией» подразумевается традиция размышления о мозге и сознании/мышлении от Декарта и далее, включая, с некоторыми оговорками, ранних немецких романтиков, в частности Вильгельма Гумбольдта. Термин принадлежит Хомскому. В англоязычной литературе (у Локка, Юма, Беркли и других) это называлось «проблемой *mind/body*», которую Хомский в старом смысле не принимает. Он преодолевает когнитивный идеализм, утверждая в определённом смысле реализм языка (*language*) и реализм мышления (*mind*). Понятие «тела» (*body*) непродуктивно, но «мозг» (*brain*) понимается как материальная основа материально проявленного *mind*.

Герменевт достаточно оснащён феноменологическими техниками, чтобы определять, каким образом реальны такие феномены, как сознание и мышление; утверждая их реализм, я готов предъять феноменологическую редукцию того и другого, см. [Литвинов 2007] о мышлении и [Литвинов 2008b] о сознании, используя техники «работы на досках», показанные в классической редукции «смысла» и

«значения» у Г.П. Щедровицкого [Щедровицкий 1974]. С этой, простите, «колокольни» я могу дать ещё одну подсказку автору (предполагаемому, будущему) работы «Chomsky's fundamental error»: определяя дефективность позиции Хомского указанием на его отказ от феноменологического уточнения *mind*, а это ведь очевидно не «сознание», не «мышление», не «дух» и т.д. - а что? Не настаивает ли Хомский на реализме того, что реально просто не существует?

Но мы же «респонзивные» читатели, принявшие тексты Хомского с 1950-х до 2010-х годов как вызов для нашего мышления, а не как предмет критического разноса. Сам Хомский мог себе позволить такой разнос по отношению к Бёрресу Скиннеру в 1959 году [Chomsky 1996], утверждая свою безусловную правоту теоретика против простого описателя поведения в терминах стимулов и реакций. В концепции бихевиориста не ставится вопрос о «внутренней структуре организма и способе обработки ею информации и организации поведения» [там же: (213-)214]. С его точки зрения Скиннер неправ. Герменевт на месте такого критика-теоретика спросил бы: «А в чём Скиннер прав?», и попытался понять ограничение, которое накладывается на интерпретацию данных в этологическом подходе. Скиннер ведь был специалистом по поведению животных и перенёс этот опыт на поведение человека (по Хомскому, неправомерно).

Но человек - тоже животное, хотя и что-то ещё сверх того. Значит, этология человеческого поведения - не пустая задача? Да, не пустая, скажет Хомский в книге «On nature and language» 2002 года в связи с новым этологическим исследованием Марка Хаузера «Эволюция коммуникации» [Хомский 2005b: глава 3: Язык и мозг]. В частности, он говорит: «Возвращаясь к методологическому тезису о том, что мы должны принять этологический подход, надо сказать, что он в принципе вполне разумен, но то, как его развивают, вызывает много вопросов» [там же: 124]. Весьма поучительный ход мысли не только для хомскианцев, но и для нас: может быть, то, что у Хомского кажется нам узким или несовременным, как вся «картезианская лингвистика» [Хомский 2005a], «в принципе вполне разумно», но об этом надо ставить наши собственные вопросы?

Да, в антропологии Хомского человек принципиально берётся как индивид, хотя основоположник «философской антропологии» Людвиг Фейербах уже в середине XIX века убедительно аргументировал, что «человек» должен браться не как индивид, а как «род» (*Gattung*), и что «для мышления первоначально нужны двое». Хомский же обновляет философию XVII - XVIII веков, а более новую (которую, надо

думать, тоже знает) просто выносит за скобки. Он, правда, учитывает современную англосаксонскую логическую философию (аналитику), но согласны ли мы это назвать философией? Будучи философски образованным, Хомский не пытается быть философом, он - учёный, причём естественнонаучной ориентации, он «знает», что человек существует как индивид, и что-то такое ему врождено, что не дано другим приматам или прочим животным. Если мы не согласны, если настаиваем, что системы знаков и знаний, и способность мышления (*thought*, а не *mind!*), и рациональное поведение - это всё реально только через коммуникацию (в социологическом и герменевтическом смысле, а не в смысле этологическом или информационном), то это - наше мыслительное обыкновение, но давайте присмотримся к тому, что видит Хомский в своём подходе. Пусть социальность человека связана с языком, и если даже способность к коммуникации врождена человеку как социуму, всё равно: организм человека должен иметь какие-то природное свойство, которое делает его таким, каким мы его привыкли мыслить. Разве он в этом не прав? И естественнонаучная лингвистика берёт человека в этом качестве и должна в нём найти «язык», а значит - в первую очередь «природную способность к языку».

А что нам делать с понятием «*mind*», этим навязчивым симулякром? Хомский берёт его в традиционном британском смысле, подразумеваемая «ментальные аспекты мира», не пытаясь это уточнять, и к выражению *human mind* он даёт в скобках «*visual system, reasoning, language, etc.*» [Chomsky 2000a: 75, 106], а далее в той же работе: «мы можем употреблять термин '*mind*' - не строго, но адекватно - говоря о мозге, но под определённым углом зрения, выработанным в ходе исследования некоторых аспектов человеческой природы и её манифестаций» [там же: 76]. Между прочим, о «сознании» (*consciousness*) Хомский тоже говорит, допуская, что в этом месте теории могут быть не проблемы, а *mysteries* [там же: 83], - но может быть это - «потенциальное сознание»? [там же: 91]. А декартовское *res cogitans* - это может быть *mind*? [там же: 83].

Как нам понимать это *mind* «with something like its traditional coverage», как говорит Хомский? Примем в качестве надёжного лексикографического справочника «The American Heritage Dictionary» во втором издании 1985 года [The American 1985: 798]:

**mind** n. 1. The human consciousness that originates in the brain and is manifested esp. in thought, perception, feeling, will, memory, or imagination. 2. The totality of conscious and unconscious processes in the brain and central nervous system that directs the mental and physical behavior



of a sentient organism. 3. The principle of intelligence; the spirit of consciousness regarded as an aspect of reality: *mind over matter*. 4. The faculty of thinking, reasoning, and applying knowledge... [etc.]

Определение в этом словаре слов «мыслить» (*think*) и «мышление» (*thought*) [там же: 1263; 1265] не содержит указания на *consciousness*, но может упоминать *mind* (**think** 1. To have or formulate in the mind). При переводе текстов Хомского на русский язык *mind* обычно передают как «мышление» в сочетании *language and mind* и как «сознание» в сочетании *mind/brain*. Не только у Хомского, но вообще в английском языковом пространстве *mind* - одно из ключевых понятий в философии человека. Представляется бесспорным замечание австралийского лингвиста Анны Вежбицкой, что в британском мышлении эмпиризм тождествен рационализму, а не противопоставлен ему, как на континенте, и что отдельную проблему представляет «одно из ключевых английских слов» - *mind*. Значение этого слова, - говорит Вежбицка, - показательно отлично от французского *esprit* или немецкого *Geist*, ни одно из которых не включает это соединение [рационализм вместе с эмпиризмом]. Только английское *mind* противопоставляет 'тело' (соответствующее французскому *corps* и немецкому *Körper*) органу мышления и знания [Wierzbicka 2006: 73].

Думается, что слово «орган» Вежбицка употребила не случайно. Если вы считаете, как Хомский и другие американские мыслители, невольные заложники этой, как говорят наши когнитивисты, «языковой картины мира», что проблема «*mind/body*» в её картезианском варианте изжила себя, потому что средневековая философия «духа и тела» потеряла смысл, и если обсуждаете тело как «организм», обладающий «органами», то вся проблематика того, что в человеке «не тело», обрачивается загадкой. Надо либо рационализм отцепить от эмпиризма, либо постулировать эмпиричность рационального начала в человеке. Во втором случае, признав, что *mind* не существует как объект мышления, можно сказать, что этот симулякр проявляет себя в других феноменах, существование которых можно показать или обосновать (мозг, язык, рассуждение и т.д.), и наука о человеке должна этот комплекс рационально освоить.

Вот ещё одно уточнение моей второй подсказки для предполагаемого будущего автора работы «Chomsky's fundamental error»: покажите, что Хомский с самого начала строит генеративную лингвистику на онтологическом допущении, которое вызывающе нереалистично, и сколь бы ни были интересны его теории синтаксиса, они по указанной причине не могут претендовать на научную истинность. А их логиче-

ская изощрённость обманывает, создавая иллюзию убедительности, это приём «универсализации через формализацию», по выражению в [Waldenfels 1990: 21]. А как иначе понять все эти тексты Хомского про «*language and mind*»?

Однако не будем судить так прямолинейно. Поняв тексты Хомского, спросим, понимаем ли мы его мышление и его тексты как акты? На самом деле Хомский не собирается выступать как антрополог или, тем более, как философ. Но в логическом пространстве его мышления есть места для концептов, которые не могут быть реалистичными в метафизическом смысле. Он выступает как лингвист, а лингвист должен быть учёным, а лингвистика должна быть *science* в американском смысле, инкорпорирующем понятие «*exact*»; т.е., *humanities* - это уже другое, не *science* [Wierzbicka 2006: 32-33], в отличие от русского, немецкого или французского культурно-языкового употребления, где есть *гуманитарные науки*, *Geisteswissenschaften*, *sciences humaines*, а также *социальные науки*, *Gesellschaftswissenschaften*, *sciences sociales*. В какой мере Хомский здесь является заложником «языковой картины мира», а не только традиции мышления, едва ли существенно. Задача построения естественнонаучной лингвистики с показом пути возможного мышления - великая мыслительная новация, а если оказывается, что это «на самом деле не про язык» - ну что же, значит, прочерчиваем границу между тем, что в традиции языковедения именуется «лингвистикой», и лингвистикой генеративной, «биолингвистикой».

В попытке понять Хомского переступаем эту границу, не преодолевая её, и с той стороны посмотрим на эту нашу лингвистику как (для него) чужую. По эту сторону мы жили и живём с лингвистическим мифом о языке, сложившимся из синтеза александрийской грамматики и семиотики стоиков, онаученного в Грамматике Пор-Рояля. Мы убеждены (может быть, лучше сказать: привыкли думать?), что язык существует в виде множества как угодно разнообразных этнических языков, и все они характеризуются парадигматическим порядком речи (грамматикой естественно-социальной) и инвентарём слов (лексикой, о которой можно говорить как о «системе»), и грамматика показывает возможные формы мышления, а слова имеют свои денотаты, то есть им соответствуют предметы и явления реального мира. Названной границы ещё не было, когда Хомский опубликовал свои «Синтаксические структуры» 1957 года и «Аспекты теории синтаксиса» 1965 года, и естественно, что эти книги прочитывались нами в пространстве привычного мифа, а именно - как новая интересная форма теоретической грамматики английского языка. И мы здесь, т.е. лингвисты

разных стран, стали применять эту форму грамматики для моделирования других языков: немецкого, румынского, французского, русского. Потом Хомский провёл нужную демаркационную линию, заявив, что генеративная лингвистика - это отдельная наука, а не какая-то теория языка среди других грамматических теорий современности [Chomsky 1986: 4]. И это, говорит он, будет естественная наука со включением в психологию, которая будет частью биологии человека [там же: 27].

Хомскому уже не интересна прочая лингвистика, но он этим прочим лингвистам по-прежнему интересен, хотя и разочаровывает поклонников отказом от моделирования языков в трансформационно-порождающем подходе. Дело в том, что Хомский и лингвисты его нового направления обнаруживают интересные для «нас здесь» грамматические свойства языков в межъязыковых контрастах, которым мы не придавали значения, пока не было генеративизма. И если мы обнаруживаем (как в моей статье, с упоминания которой я начал эти размышления), что сегодняшние германисты присягают генеративизму, это может иметь разный смысл: а) может быть, они действительно поняли «Минималистскую программу» как программу и пытаются мыслить вместе с Хомским и его ближайшим кругом; или б) они читают «Минималистскую программу» как новейшую теорию языка и, оставаясь по эту сторону границы, пытаются описывать германские языки в понятиях последней моды. Собственно, эту дилемму надо спроецировать на всю теоретическую грамматику последних десятилетий.

Всё ли нами понято, что надо понять? Пожалуй, надо ещё прояснить вопрос о «денотатах» слов *language* и *mind* в языке Хомского. «Язык» придумали социологи, говорит он, вот они пусть и рассказывают, что это такое (напр. в [Chomsky 1977: 196; 1988: 37]). Но он же говорит о «знании языка» как реальном? Да, это реальное проявление компетенции говорящего человека, как индивида. Мы действительно говорим, что Джонс «знает» язык, «this curious and increasingly mysterious component of the human mind» [Chomsky 1995: 379]. А *mind*? Здесь нет «денотата»; слова языка по Хомскому вообще не имеют референции (денотации). Но о лексике должен быть отдельный разговор, и он у нас будет дальше при чтении текста «Minimalist inquiries». А пока скажем, что, конечно же, все вещи мира, и вообще все обсуждаемые нами предметы, в том числе воображаемые, должны иметь свои названия, но может быть Хомский прав, что это - социальная семантика, и из этого не вытекает, что в языке слова «имеют денотаты».

*Mind* - слово, унаследованное от старой философии с проблемой «mind-brain», но оказалось, что это слово можно употреблять с новым

смыслом, для которого есть место в логическом пространстве генеративной лингвистики. Но реальность места в логическом пространстве научного мышления не предполагает с необходимостью существования феномена, для которого заполнение этого места может быть названием. Возможно (это трудно проверить), что верные хомскианцы принимают на веру существование этого *mind*. У Хомского же это - место в концептуальной системе, которое не имплицитно определяет объект, подлежащий определению или исследованию, поэтому Хомский ограничивается указанием, как он сам употребляет это слово. Мы готовы назвать это «ошибкой» Хомского, как называем «ошибкой» гипотезу флогистона в теории теплообмена Жана Батиста Фурье? Но Фурье с этой «ошибкой» пришёл к своим знаменитым уравнениям, всё ещё «истинным». И Хомский, оперируя понятием «mind» (между прочим, не утверждая его «существования» как «объекта»), приходит к теоретическим решениям, которые может быть не были бы возможны без этой «метафизической ошибки». Давайте обсуждать учёного как учёного, а вопросы о существовании фикций оставим религиозным догmatикам.

Добавим к этому аналогичное рассуждение об УГ (универсальной грамматике), которая, конечно, не грамматика, но должна так называться [Chomsky 1986: 189]. Почему способность к языку FL должна быть способностью к грамматике, а не, например, способностью к семиотике, которая тоже, конечно, «не семиотика, но должна так называться»? Если мы в традициях антропологии обсуждаем отрыв человека от животного мира, кажется естественным рассмотреть отличие сигнальной системы человека от сигнальных систем животных, как было предложено в [Литвинов 1986: 3-6]. Человек сотворяет сигнал по поводу собственного сигнала, и не как возможный ответ на него, а как его закрепление за ситуацией; так может возникать значение сигнала, сигнал преобразуется в знак, поскольку метасигнал действует как метазнак, и становится возможным осознание, а далее сознание, *cogitatio*, *mind*, мышление. В этом представлении *homo grammaticus* оказывается естественным следствием более фундаментального *homo loquens* = *homo sapiens*, и все открытия, сделанные генеративистами, не отрицаются, а относятся (может быть, с некоторой переформулировкой) в этом случае к «универсальной грамматике» как необходимому эпифеномену «универсальной семиотики». Научная задача познания языка и разума не становится лёгкой, но перестаёт быть единственно правильно понятой по Хомскому, и от *mind* можно будет отказаться. Это могло бы быть третьей подсказкой автору работы «Chomsky's fundamental error». Ошибка? Даже если гипотеза УГ будет признана ошиб-

кой, эта ошибка может быть будет более значительным достижением, чем совокупный интеллектуальный опыт лингвистики XX века. (Об этом опыте я написал отдельную работу, которая должна появиться в интернете [Литвинов рукопись]).

Но вернёмся к позиции Читателя-студента, который должен не интерпретировать, а учиться читать. Продолжим чтение, выбирая из текста «Minimalist inquiries» пассажи, которые могут быть нужны Читателю-2. Название «Design specifications» предполагает, что читатель понимает *design* как конструкцию теории, для которой отыскивается её эквивалент в объекте FL.

***To clarify the problem of design specifications, let us invent an evolutionary fable, keeping it highly simplified.*** - Читатель достаточно внимателен? Хомский придумывает (глагол *invent*) эволюционный сюжет (*fable!*) с крайним упрощением, поэтому не требуем от него научного обоснования истины в том месте, где он фантазирует! - ***Imagine some primate with the human initial architecture and sensorimotor apparatus in place, but no language organ. It has our modes of perceptual organization, our propositional attitudes (beliefs, desires, hopes, fears, etc.) insofar as these are not mediated by language, perhaps a 'language of thought' in Jerry Fodor's sense, but no way to express its thoughts by means of linguistic expressions, so that they remain largely inaccessible to it, and to others. Suppose some event reorganizes the brain in such a way as, in effect, to insert FL. To be usable, such an organ has to meet certain 'legibility conditions'. Other systems of the mind/brain have to be able to access expressions generated by states of FL ((I-)languages), to 'read' them and use them as 'instructions' for thought and action. We can try to formulate clearly - and if possible answer - the question of how good a solution FL is to legibility conditions, and these alone. That is essentially the topic of the Minimalist Program*** (p. 94)

Итак, Читателю предлагается «вообразить какого-то примата с человеческим ментальным устройством и сенсомоторным аппаратом при этом, но без органа языка». - «Ничего себе, - скажет Читатель-студент с высшим образованием, - он же ещё менее правдоподобен, чем инопланетянин Джон М.». Но Читатель удивится ещё больше, читая дальше: у этого примата надо предположить не только нашу «перцептуальную организацию», но и наши «пропозициональные (!) установки», а именно убеждения, желания, надежды, страхи и т.д., откуда не опосредованные языком (хотя и «пропозициональные!») - может быть, нечто вроде «языка мысли» Джерри Фодора, и при этом неспособного «выражать мысли языковыми выражениями», в результате чего они

остаются в большой мере недоступными для него самого и для других. Высоколобый читатель скажет: «Неужели это тот самый Хомский, которым восхищается мир?» А Хомский предлагает дальнейшее развитие этой фантазии: Представим себе, что какое-то событие изменило его мозг таким образом, что в него встраивалась способность FL. Чтобы быть эффективным, такой орган должен соответствовать некоторым «условиям читаемости» (*legibility conditions*).

Нужно ли студенту читать Джерри Фодора (есть такая книга, Читатель!), не знаю. Читатель подумает, что это не обязательно, и будет прав. А что делать с навороченным сюжетом? Если бы я был научным наставником такого Читателя-студента, я сказал бы ему: «Не верь, что Хомский действительно так думает». Приём мышления, используемый здесь, я когда-то назвал «конструктивной мистификацией». Я не уверен, что здесь у Хомского он применён хорошо, но Читателю не обязательно его оценивать. Достаточно понять, что Хомский, применяя этот приём, самым радикальным образом обнажает проблему языка, как условие мыслимости «способности к языку». Мы можем не иметь объекта «язык», но проблема языка у нас должна быть. А если способность к языку есть, тогда, как следствие, выполняются условия реализации человеческого общения, понимания мира, мышления, переустройства жизненного мира, и вообще реализации всего человеческого потенциала.

А если теперь отказаться от этой фантазии и спросить, как это могло случиться в реальности, ***how did the structure of the brain and the course of evolution happen to yield the outcome (2)*** (p.96) Имеется в виду «предельный минималистский тезис» (2) ***Language is an optimal solution to legibility conditions***. Ответ, который Хомский давал в разных работах, примитивен. Может быть, шестьдесят или сто тысяч лет тому назад что-то такое с кем-то произошло (примат стал таким!), а дальше оно получило распространение. Я вспоминаю глуповатые ответы на вопрос о происхождении человека, дававшиеся иной раз «диалектическими материалистами» в СССР: «Была когда-то одна особенно умная обезьяна...» и так далее. А что случилось с этим «приматом» Хомского? Какое-то событие сделало возможным появление в мозге «органа FL», который выполнял условия «читаемости» звуковых образований в связи с ситуационно-поведенческими актами, а это значит - взаимного отображения двух интерфейсов: сенсомоторно-акустического (PF, phonetic form) и интенционально-концептуального (LF, logical form). Между ними определяется не зависимость, а совместимость, ею и определяется «читаемость». Насколько хорошо выполняется ус-

ловие FL, мы можем исследовать на материале языков, и эта задача есть тема «Минималистский программы».

Читаем дальше:

***We have assumed two external systems: sensorimotor systems and systems of thought.*** - Мы вспоминаем «субстанцию выражения» и «субстанцию содержания», структурированные вне языка, по Ельмслеву. Но группа Хомского не думает здесь о структуралистах. Говоря «we (assumed)», Хомский не имеет в виду «Автор и Читатель», он имеет в виду ближний круг соратников, разрабатывающих «Минималистскую программу». Он говорит о них во введении к этой статье, которое мы пропустили. Для него важно не претендовать на единоличное авторство развиваемой концепции, хотя всё, что в итоге принимается, им «лицензировано». Продолжаем:

***The former [systems] can only use the information presented in a specific form: with temporal order, prosodic and syllabic structure, certain phonetic properties and relations. The systems of thought require information about units they can interpret and the relations among them: certain arrays of semantic features, event and quantificational structure, and so on. Insofar as we can discover the properties of these external systems (an empirical problem, however difficult), we can ask how well the language organ satisfies the design specifications they impose, providing legible representations at the interface levels. That is the minimal condition FL must satisfy to be usable at all.***

***To introduce some terminology of MP, we say that a computation of the expression Exp converges at the interface level IL, if Exp is legible at IL and arranged so that these systems can make use of them; otherwise, it crashes at IL*** (p. 94-95)

И несколько далее:

***Suppose that in state L, FL generates expressions Exp = <PF, LF>. Then L determines sound-meaning association: the sounds and meanings determined by PF and LF, respectively, are associated in Exp...*** (p. 95).

Наконец, может сказать в этом месте Читатель, он действительно заговорил про язык! В самом деле, L значит "language", язык, и в его выражениях ассоциированы «фонетическая форма» и «логическая форма». Но давайте вчитаемся в то, что сказано перед этим.

«Мы предположили два рода внешних систем: сенсомоторные системы и системы мышления [«мышление» здесь в смысле структурированной субстанции содержания, не так ли? В.Л.], каждая со своими характеристиками, независимыми от FL. Первые могут использовать



только информацию, представленную в особой форме: с темпоральным порядком, просодической и силлабической структурой, [то есть] некоторые фонетические свойства и отношения. Системы мышления требуют информации о единицах, которые они могут интерпретировать, и отношениях между ними, о событийной и количественной структуре и т.д. В той мере, в какой мы можем открыть свойства этих внешних систем (эмпирическая задача, как она ни трудна), мы можем спрашивать, насколько хорошо орган языка удовлетворяет схематизмам (*design specifications*), которые они задают, и предлагает прочитаемые репрезентации на условиях интерфейсов. Это минимальное условие, которому FL должна соответствовать, чтобы быть вполне адекватной (*usable, «пригодной для...»*).

Поняв в некоторой мере эту часть работы Хомского, мы вынуждены констатировать, что невозможно читать работы этого автора, не зная историю генеративной лингвистики. Здесь предполагается, что мы до этой статьи открывали книгу «Минималистская программа» и поняли её замысел. Но эта книга отвечает на проблемы, известные читателю (другому читателю, чем мы!) по работе над «Теорией управления и связывания» 1980-х годов. За ней в свою очередь стоят нерешённые проблемы «Расширенной стандартной теории» и так далее к началу в «Синтаксических структурах». Всё это надо некоторым образом освоить, чтобы был возможен шаг через границу, отделяющую наше «Своё» от генеративистского «Чужого». Отечественному Читателю-студенту нужны подходящие «Введения» в генеративизм. Есть вышедшая малым тиражом скромная книжка [Литвинов 1999], есть более содержательное изложение генеративной грамматики во «Введении в общий синтаксис» Я.Г. Тестельца [2001], недостатком которой надо признать размещение грамматики Хомского в ряду современных не генеративных концепций (зато там нет проблемы «mind»), есть введение редакторов-составителей (А. Беллетти и Л. Рицци) в качестве главы 1 в книге Хомского «О природе и языке» [Хомский 2005b: 12-71], которое, на мой взгляд, не облегчает вхождение новичка в генеративизм. Но мы можем не обсуждать здесь дидактические трудности; фиксируем главный урок из нашего респонзивного чтения.

Если для интерпретации Читателя-герменевта достаточен герменевтический круг с прохождением трёх точек возможной рефлексивной задержки: актуального Я Читателя, понимаемого текста и культурного фона в релевантном отборе (см. схематизмы в [Литвинов 2011]), то для интерпретации Читателя-студента требуются дополнительные точки по схемам «круга» у О.В. Карасёва [2001]: актуализируемое пред-



знание, промежуточная интерпретация, описание значения. Студент должен по шагам обретать то, что у герменевта предполагается как готовая компетенция. Это особенно важно у нас при переходе к третьей части статьи Хомского («3. Architecture»), стр. 98 и далее.

Читаем:

***We are taking L to be the recursive definition of a set of expressions  $Exp = \langle PF, LF \rangle$ . We can now raise a question - at least, an apparent question - about the interpretation of the recursive definition*** (p.98)

- Определение объекта L как множества выражений (таких-то) похоже на позитивистские определения языка по Герману Паулю и Леонарду Блумфилду, перенесённые из XIX и XX веков в XXI век. Но будем внимательны к формулировкам: речь идёт о «рекурсивном определении», и ставится вопрос о его «интерпретации». «Вопрос» ослаблен выражениями *at least* и *an apparent question*, т.е. в этом месте нет претензии на точность, а *apparent* надо понимать в каком смысле: «как бы вопрос» или «очевидно требуемый вопрос»? Из уважения к точной науке остановимся на втором смысле этого выражения. И, конечно, «интерпретация» в естественной науке - это не герменевтическое истолкование, а конкретизация на материале. Её осуществляет лингвист, но он подразумевает, что тем самым отражает реальное бытование L со свойством «интерпретация».

Понимает ли Читатель выражение «рекурсивное определение»? Это надо мыслить в модальности актуальной бесконечности; кто не знает, что это такое, см. математические справочники. Но может быть, «студент» может это пропустить, стараясь понять то, что дальше, не вовлекаясь в теорию множеств? Продолжаем чтение:

***One can construe L as a step-by-step procedure for constructing Exps, suggesting that this is how things work as a real property of the brain, not temporarily but as a part of its structural design. Assumptions of this nature constitute a derivational approach to L ...*** - Образ «языка» как пошаговой процедуры, производящей Exps (выражения), которую надо понимать не процессно (*temporarily*), а сущностно, как часть его структурного устройства - здесь опять появляется инженерная метафора, отнюдь не по небрежению. Хомский - конструктивист и говорит при случае об уместности инженерной метафоры (напр. в «Новых горизонтах...» [Chomsky 2000a: 9]: “In particular, we can ask how good the design is. How close does language come to **what some super-engineer would construct**, given the conditions that the language faculty must satisfy?”). Далее: ***I will adopt the derivational approach as an expository device, though I suspect it may be more than that.*** - Как я, Читатель-гер-

меневт, понимаю в этом случае, Хомский получит теорию, а не просто подход (*approach*), каковую можно назвать «теорией пошаговой деривации», и вроде бы именно это сделано в статье с новым понятием «фазы»: «Derivation by phase» [Chomsky 2001]. - ***UG makes available a set F of features (linguistic properties) and apparatus C<sub>HL</sub> (the computational procedure for human language) that access F to generate expressions. The language L maps F to a particular set of expressions Exp...*** - Множество [F] признаков (языковых свойств разного рода) и аппарат C<sub>HL</sub> как «вычислительная процедура для человеческого языка» - это доступ к отдельным признакам F для производства выражений. - ***We assume, then, that a language L maps ([F], Lex) to Exp*** - Язык отображает множество признаков в сочетании с лексиконом Lex на Exp, а если, как сказано далее, мы придерживаемся «*narrow syntax*» и не включаем доступ к [F], а только к Lex, то LF-репрезентации (скажем, семантика выражений) есть эффект C<sub>HL</sub>, отображающего Lex на LF (p. 100).

Собственно, Читателю-студенту в этом месте надо бы остановиться и определить для себя, намеревается ли он работать над собой с целью стать генеративистом, или хочет в грамматической работе традиционного профиля использовать какой-то важный для него результат генеративных изысканий. В первом случае он должен сказать себе, что был легкомысленным, начав изучение генеративной грамматики с текста 2000 года, и приступить к систематическому изучению этой лингвистики по ту сторону границы. Во втором случае он может ограничиться тем, что уже понял, и сосредоточиться на предмете своего специального интереса.

Допустим, этот студент работает по теме «Синтаксис относительного местоимения в придаточном дополнительном русского языка» и задумался над странным генитивом местоимения: *человек, мнение которого я не разделяю*, где вопреки известному правилу относительное местоимение не может стоять на первом месте: *\*человек, которого я не разделяю мнение*. Студенту подсказали, что над этим размышляют генеративисты, и даже используют специальный термин « *pied-piping*» для этого эффекта. Это слово, между прочим, непереводаемая метафора, оно образовано от существительного *Pied-Piper* «пёстрый дудочник» (где *pie* в значении «сыпь») из англоязычной версии немецкой легенды о дудочнике, который музыкой увлёк в озеро всех крыс одного городка, а когда ему отказались заплатить, таким же образом увёл всех детей. На этапе трансформационной грамматики правильная форма придаточного считалась продуктом передвижения дополнения (*мнение*) из правой позиции в левую вслед за местоимением (аналогия с

«дудочником»), которое ему подчинено и должно следовать за ним, на втором месте. Об этом «правиле» генеративной грамматики студент может почерпнуть начальную информацию в [Тестелец 2001: 140-141], где оно названо «эффектом крысолова». Аналогично и немецкие грамматисты переводят  *pied-piping*  как *Rattenfänger-Effekt*.

Но Читатель-студент не может просто сказать себе: «Я понял, что такое эффект крысолова по Хомскому (или: в традиции генеративной грамматики)», не может, потому что, хотя этим словом может обозначаться одно и то же свойство синтаксических конструкций в реализованном языке, но теоретическое объяснение его менялось в течение десятилетий. Выражение  *pied-piping*  было введено в середине 1960-х годов ещё в рамках «трансформационной порождающей грамматики» (его предложила Робин Лакофф и популяризировал Джон Росс [Тестелец 2001: 140]), это было название одной из многих трансформаций. После этого, на этапе «расширенной стандартной теории» Хомским был поставлен вопрос о минимально необходимом наборе трансформаций для предполагаемой «универсальной грамматики», и « *pied-piping* » задержалось в этом наборе. Ещё позднее, в «Теории управления и связывания» 80-х годов, в генеративной грамматике сохранилась одна единственная трансформация, принцип  *Move a* , от которой не удалось избавиться даже в «Минималистской программе» 90-х годов. Здесь, однако, предложена концепция «передвижения признака» вместо «передвижения материала (категории)», и его затем заменили на концепцию «притягивания признака» ( *Attract F* ), всё ещё сохраняя «правило передвижения» в качестве  *last resort* , т.е. для тех случаев, где в теоретических формализмах оказываются недостаточными процедуры  *Merge*  («слияние») и  *Agree*  («согласование»), которые в этом  *Move*  сняты по понятию. В тексте, который мы читаем, сказано:

***Plainly Move is more complex than its subcomponents Merge and Agree, or even the combination of the two, since it involves the extra step of determining P(F) (generalized 'pied-piping')...***  (p. 101-102)

Видимо, « *generalized pied-piping* » уже не относится к той теоретической проблематике, из-за которой наставник нашего «студента» от правил его читать работы генеративистов. Возможно, что это понятие вообще больше не будет использоваться, поскольку в интервью с Мак-Гиллвреем [Chomsky 2012] Хомский констатирует, что всю операторику УГ уже удалось свести к единственной операции  *Merge*  «слияние», которая применяется рекурсивно, образуя фазы в построении синтаксических объектов (не в языке, а в формализме FL!, т.е. не в процессном смысле).

Поскольку генеративная лингвистика непрерывно развивается, обновляясь в циклах менее чем по 10 лет, и при этом не только появляются новые терминологические выражения (в «Минималистской программе» *Merge, Procrastinate* и другие, в том числе *Phase*), но и теоретически переосмысливаются существовавшие прежде, как *Agree* или *Pied-piping*, то освоение терминологии в этой области требует внимательного изучения её истории. В третьей части читаемой нами статьи обсуждаются возможности теоретической «архитектуры» с нагромождением специальных терминов, вообще не осмысленных и не переводимых для неискущённого читателя. И даже искущённого читателя может затруднять использование сокращений. Например, L - это (l-) language, но в LF оно значит logical (form), а есть ещё LA - lexical array.

Не только Читателю-студенту, но и нам (автору и читателю настоящей статьи) надо будет остановить процесс чтения, поскольку всё существенное о границе Своего и Чужого уже сказано. Но для полноты картины надо будет коротко охарактеризовать два момента, которые не удалось объяснить по ходу «чтения» и приходится посылать вдогонку.

В Минималистской программе радикально переосмыслена проблема лексики в контексте универсальной грамматики. Если прежде считалось, что лексика не причастна к универсальной грамматике, хотя допускалось, что какие-то семантические признаки претендуют на универсальность, и «лексикон» заполнял места в «ядерной», «глубинной» или D-структуре, то теперь лексика как множество слов оставляется социальным лексикологам, а для УГ принимается положение о рекурсивно комбинируемом множестве признаков, среди которых есть те, что доступны для «фонетической формы», и те, что доступны для «логической формы». В операторике УГ, понимаемой на манер компьютерной операторики, *software* как «исчисление», мыслится множество таких признаков, которые представляют собой зоны выбора. Мне будет удобно воспроизвести пассаж о «лексиконе» в «Минималистской программе» по моей книге [Литвинов 1999а: 61-62]:

«Человеческий язык состоит из лексикона и операторики  $C_{HL}$ , где  $C = computation$ . Языковое выражение  $(\pi, \lambda)$  “пи, лямбда” удовлетворяет выходным условиям (*output conditions*) на интерфейсах PF и LF. “Пи” и “лямбда” не выводимы взаимно одно из другого, но они должны быть совместимыми, что возможно, если они базируются на одних и тех же лексических выборах. Представим себе  $C_{HL}$  как отображение некоторого набора  $A$  (от англ. *array*) лексических выборов на пару  $(\pi, \lambda)$ . На привычном для нас неформальном языке это означает, что операто-

рика работает по лексическому набору, соответственно тому, что “мы хотим сказать”. Но надо исключить при этом “нас”, наше “хотение” и акт “сказать”, поскольку речь идёт не о говорящих людях, а об универсальном механизме языка. Что такое в этом случае A? Оно, говорит Хомский, как минимум должно указывать, каковы лексические выборы и сколько раз каждый выбор избирается системой  $C_{HL}$  при образовании  $(\pi, \lambda)$  [Chomsky 1995: 225]. Здесь два значения “выбора”, по-английски: *selection of (an array of) choices*. Лексика, отобранная первичным выбором, мыслится как перечисление (*enumeration*), то есть множество пар  $(L_i, i)$ , где  $L_i$  - lexical item, а  $i$  - её индекс, понимаемый как номер, помечающий разы нового выбора, при синтаксическом построении. Процедура  $C_{HL}$  избирает единицу  $L_i$  из  $N$  (*enumeration*), сокращая на каждом шаге её индекс на 1. Результат компьютеринга вообще не считается «деривацией», пока все индексы не сведены к нулю (не завершён процесс образования). Образованное таким образом  $S$  есть деривация, которая “конвергентна”, то есть “совпадает”, если упорядоченные элементы в её составе удовлетворяют условию “полной интерпретации” в PF и LF, на “фонетическом” и “логическом” уровнях “репрезентации. Об образовании, которое не “совпадает” (*converges*), говорится, что оно “ломается” (*crashes*)» -Конец цитаты.

Сравним с этим более замысловатую (и, видимо, научно более точную) экспозицию в читаемой нами статье (стр. 101-107). В частности: LA (*lexical array*, зона признаков) избирается из Lex, лексикона. Допустим, мы извлекли подмножество признаков  $LA_r$ , разместили его в активной памяти (не человека, а вычислительной системы), подвергли процедуре L; когда  $LA_r$  «исчерпано», компьютеринг продолжается, если он возможен; а если нет, следует возвращение к LA и извлекается подмножество  $LA_r$ , и так далее, пока не завершается создание «синтаксического объекта», не совершается «конвергенция». На «семантической стороне» операторики разумно предполагать «синтаксический объект» SO как эквивалент «пропозиции»: либо *verb phrase*, т.е. глагол с замещаемыми валентностями, либо *clause*, элементарная предикация. Далее цитируем: ***Take a phase of the derivation to be an SO derived in this way***, и так далее. И ещё дальнейшая цитата: ***Derivations proceed phase by phase: (18), for example, has the four phases shown in brackets: (18) [John [<sub>t</sub> thinks [Tom will [<sub>t</sub> win the prize]]]]***. Последовательная деривация читается справа налево, от внутренних скобок (р. 106-107).

Не следует сопоставлять «фазы» с частями сложного предложения (хотя это возможный вариант), или с последовательным словосочетанием в духе Ф.Ф. Фортунатова, поскольку и слова, и предложения

в таких примерах сугубо условны, они представляют принцип в архитектонике «способности к языку», где не предполагаются врождённые слова, морфемы или предложения.

Если нам хочется читать дальше, или если вообще мы намереемся освоить это мышление, надо оставить место на границе и целиком войти в «Чужое», чтобы сделать его своим. Однако мы же просто хотели «понять Хомского», и на уровне принципа мы его вроде бы поняли. Заметим, что это сегодня необходимо, потому что Хомский и генеративизм - существенная часть современного нам языковедения. Одновременно нелишне заметить, что при всей масштабности программа генеративной лингвистики и её результатов, её предмет - FL - сугубая частность в огромном массиве лингвистических предметов. Хомский не «ошибается», но мы совершим непростительную ошибку, если все станем генеративистами. В этом случае мы потеряем лингвистику. А российский гуманитарный университет с его извечной «правотой», похоже, сегодня сидит на бомбе, которую Хомский нечаянно подложил под лингвистику. Значит, мы должны завершить нашу работу методологическим комментарием. Комментарий последует за коротким сатирическим интермеццо.

### ***Интермеццо*** **ВЫСОКИЕ ГОСТИ В НГУ**

*Чуть только кто из-за бугра -  
С лингвистикой такое дело! -  
Моргай глазами отупело,  
И прыгай, и кричи ура!*

*Две мымы, господи прости,  
С приветом, судя по причёскам,  
И Хомского назвали Чомским,  
И - всем привет из Эм-Ай-Ти.*

*Когда тебе суют под нос  
«Минималистскую программу»,  
Не начинай про бога маму,  
А делай вид, что не дорос.*

*Локтями подтянув штаны,  
Бери на понт американок:*

*Мол, мы приветствуем посланок  
Цивилизованной страны.*

*Мол, нам Америка - как мать,  
Мы без неё заплесневеем.  
Мы грешным делом не умеем  
Деревьев ваших рисовать.*

*Вы нам побольше новых слов,  
Побольше над Ви-Пи узлов,  
И фраз, и фаз возможно многих.  
Ведите нас на свет, убогих,  
Как тот, из сказки, крысолов.*

### **Методологический комментарий**

Ситуация в науке иногда бывает забавной из-за непрояснённой противоречивости в её содержании. Мы привычно думаем о лингвистике как науке (науке о языке), не возобновляя старого вопроса о критериях научности; а расширенное понятие «научной работы» в университете ещё более смазывают общую картину. И вот приходит учёный, который помнит о критериях научности и применяет к проблематике языка классические критерии физикализма. Естественно, он обнаруживает, что лингвистика «пока ещё» не стала наукой, и начинает строить «научную лингвистику». Его читатели, лингвисты с достаточной компетенцией на уровне второй половины XX века, восхищаются его научным актом, считая самих себя по инерции работниками науки, и начинают читать тексты Хомского как вклад в своё, якобы общее с Хомским дело. При этом Хомский указывает на традицию Декарта и обсуждает *mind* Локка, Беркли и других подобных. Но Декарт был учёный (в точном смысле *scientist*), а эти последующие были философами-идеалистами, которых Хомскому потребовалось перепрочитать реалистически, сохранив *mind* как предмет мышления.

У Декарта в его французском языке нет точного аналога английского *mind*; есть *bon sens* «здравый смысл», *raison* «разум», *esprit* «дух» (конечно, *дух* не в русском мистическом смысле, а скорее в смысле, близком к немецкому *Geist*), и у него допускается сочетание *mon esprit* («моё мышление», а не «мой дух», верно?). И об *esprit/raison/sens* у него сказано, что это - единственное, что делает нас людьми, отличая нас от животных. См. [Descartes 1973: 25-26]; в этом издании терминология умпостижения в «Рассуждении о методе» Декарта снабжена

примечаниями Франсуа Мизраши [там же: 87-88], которые я не могу просто перенести на *mind* англосаксов даже вкупе с дополнительными *consciousness* и *thought*. В латинских же текстах Декарта принципиальными были *cogito/cogitatio*, которые Декарт переводил как *pensée* и объяснял как «естественный свет» (*la lumière naturelle*). Видимо, термин «картезианская лингвистика» неточен, как неточно указание Хомского на В. фон Гумбольдта как «предшественника генеративной грамматики». Он при случае готов это признать, как в интервью с МакГилвреем [Chomsky 2012: тема 9].

Будем различать в работе Хомского зону точного знания, *exact science* с формализмами, естественным соседством которых являются математика, логика и искусственный интеллект, и, с другой стороны, зону культурного окружения, где Хомский даёт приблизительные определения, проводит произвольные параллели, фантазирует об альтернативных мирах. Зона окружения нужна ему как источник возможных идей, а собственно теоретическое мышление выражается в строгих формализмах и их теоретических интерпретациях.

Читатель Хомского оказывается для начала в ситуации обманутых ожиданий. Он знает, что такое язык, и что лингвистика должна быть знанием про это, и он «переступает границу» привычного порядка мышления, пока ещё не осознанно, «не преодолевая её», как говорит Вальденфельс в уже цитированном месте [Waldenfels 1990: 26]. Он не отдаёт себе отчёт в том, что пытается сидеть на двух стульях, сочиняя, например, «минималистскую морфологию немецкого языка». Методологически содержательный коррелят сидения на двух стульях - культурно значимая аналитическая работа на границе двух разных порядков мышления. Наш предшествующий текст может быть принят как экспериментальный материал для «методологического комментария». Сидя на двух стульях, можно смеяться, и наш материал это оправдывает. Но если я ответственно располагаюсь на границе двух порядков мышления, и если при этом пытаюсь серьёзно мыслить по поводу разных подходов здесь и там, я должен иметь *tertium comparationis*, моё рамочное для этого дела понятие мышления, которое может быть достаточным для коммуникации между двумя порядками.

Ни *mind* в англосаксонском смысле, ни «язык мышления» (*Mental-ese*) Дж. Фодора для этого дела очевидно не годятся, мне нужны предметы явленного мышления, которые в своей «непосредственной действительности» (говоря по Гегелю и Марксу) суть язык, и именно язык, а не способность к нему, причём язык в особом режиме его работы. Мыслящий ум (если можно условно так сказать) производит мысли в



виде текстов, но это должно быть интерпретировано мыслящим мышлением (если можно так сказать), которое перестраивает значения в континууме значений. Я этим воспроизвёл почти дословно формулировку из моей работы «Понятое мышление» [Литвинов 2007: 46] не потому, что это моё убеждение, а потому, что такое понимание мышления пригодно в моей герменевтической ситуации. Думаем о значительных авторах, которых можно зачислить в «мыслители»: работа индивидуального ума может вмешиваться в работу логоса, перестраивая парадигматику культурных значений [там же: 29]. Это - особый режим работы языка, и я говорю это не потому, что я лингвист (лингвисты этого не говорят!), а потому что я методолог, а в связи с этим - конструктивный герменевт.

В этом качестве я могу условно учреждать диалог между двумя дискурсами, представляющими разный порядок логоса - генеративной лингвистикой с «той стороны» и лингвистикой лингвиста с «этой стороны». У меня нет и не должно быть иллюзий о возможности «самых вещей» (αὐτὰ τὰ πράγματα), языка в «правильном понимании» и мышления в «правильном понимании», поэтому конструируемый диалог не вырождается в псевдодialeктический монолог.

Обратим внимание, что великий мыслитель значим не своим «мыслящим умом», а своим вмешательством в «мыслящее мышление», в существующий порядок логоса. На вопрос интервьюера [Chomsky 2012: тема 5], всегда ли Хомский думал, что лингвистика должна быть точной на манер физики, Хомский отвечает, что нет, что он был послушным еврейским мальчиком, принимавшим на веру всё, чему его учили, в том числе дескриптивную лингвистику Хэрриса, и лишь с началом собственных научных занятий пришёл к этой мысли, считая поначалу, что это его юношеская блажь. Лишь позднее эта идея стала оформляться в собственно научных представлениях. Можно восхищаться этим индивидуальным умом, но мы, т.е. сегодняшняя наука, ценим не этот ум, а его реальное мышление, воплощённое в его текстах, провоцирующих нашу мысль таким образом, что рядом с хорошо развитой мировой лингвистикой вырастает лингвистика-2, генеративная парадигма, дерзкий вызов для научного окружения, среды гуманитарного знания о языке.

Мы вполне осознаём, что мыслить о языке можно только гуманитарно, а естественнонаучно можно мыслить этологический срез по «человеку», углубляя вопрос о том, как это свойство языка человеку врождено. Хомский открытым текстом говорит, и не раз, что он изучает не «язык», а FL, а его преданные сторонники снова и снова применя-

ют его формализмы для «теоретической грамматики языка L». В этом может быть хомскианский смысл, только если интерпретируемые нами факты возводятся к принципам FL и выбору параметра. Для чего может быть нужна эта работа, кроме её самодостаточной установки на совершенство? Польза прочего языковедения очевидна и не ставится под вопрос, а что можно делать с данными генеративной лингвистики?

Стандартный ответ даётся по аналогии с другими естественными науками: достигнутое правильное (истинное по внутринаучному критерию) истолкование объекта подскажет возможные будущие приложения, для этого нужно строить прикладное знание. Этого Хомский не говорит. Более того, когда в университете Манагуа его спросили тамошние языковеды, как «теперь», когда есть «эта» наука, строить методики перевода и обучения иностранному языку, Хомский ответил: Психология и лингвистика уже натворили много бед, пытаюсь отвечать на вопросы практиков; у вас же есть дело, которым вы заняты, и опыт вашей профессии, и «не надо слушать учёных», пока в их трудах не обнаружится что-то полезное в качестве подсказки для вас. Читать лингвистику всё равно полезно, но наука существует не для таких применений. См. [Chomsky 1988: 178-182].

Как бы энтузиасты прикладной науки не натворили новых бед. Представим себе, что генеративисты довели свою работу до такого теоретического результата, который подскажет возможность перепрограммирования биологического механизма FL. С другой стороны, если такое перепрограммирование будет придумано нейролингвистами, которые активны уже сейчас, и потребуются защитные меры для сохранения человека, тогда может быть знание об FL по Хомскому подскажет такие возможности сопротивления. Сама естественная наука не учит, как надо или не надо жить, и в этом её достоинство. И, между прочим, гуманитарные проблемы должны разрешать гуманитарные науки (не *sciences*, а *humanities*). А гуманитарное мышление, как аргументировал Гуссерль, если оно феноменологически состоятельно, а не мистично, хотя и не может (и не должно!) быть точным в физикалистском смысле, вполне может и должно быть строгим.

Пригодны ли эти соображения, чтобы утверждать значение гуманитарной (в частности, сегодняшней «когнитивной») лингвистики и отрицать значение генеративистской мысли?

Посмотрим, что практически делается по эту сторону «границы». Есть широкая, по сути необъятная, сфера языковедения, значимость которой трудно переоценить. Есть в этой сфере запас знания о языках в виде словарей и грамматик (очевидно нужных), а кроме того

есть массив лингвистического знания, претендующего на теоретичность. Здесь также творится «прикладная наука» (*applied linguistics*), например, в виде подсказок для методистов иностранного языка, как использовать новейшие достижения теоретической науки. О несуразности этой идеи говорил Хомский в цитированном ответе на вопрос никарагуанского лингвиста. С точки зрения методолога, анализирующего функции знания в системах практики, эта несуразность очевидна, но многие ли лингвисты становятся на эту точку зрения?

Предмет гордости лингвиста, отрицающего генеративный подход, - утверждение, что его лингвистика - это действительно наука о языке, а Хомский откровенно делает другое, да ещё говорит, что «язык придумали социологи». Это неверно, «язык» придумали грамматисты Пор-Рояля, но они не спросили, что это такое, как если бы границы языка достоверно совпадали с границами античной грамматики, соединённой с античной семиотикой. Вопрос, что такое язык, поставлен много позже И.Г. Гердером (в 1774 году) и глубоко промыслен В.фон Гумбольдтом (начало XIX века). Но в их время лингвистика уже шла по траектории, намеченной в Пор-Рояле, и успешно развивалась без научной онтологии объекта. Строить научную лингвистику по Гердеру и Гумбольдту мешала устойчивая парадигма, а представление молодого Хомского, что он строит лингвистику по Гумбольдту, оказалось ошибочным. Пока мы закрепились на границе между физикалистами в генеративизме и гуманитариями по традиции, мы констатируем (заметим, вынужденно!), что лингвистика как наука о языке осталась незавершённым проектом. По обе стороны границы для спеси нет оснований.

При этом язык представляет собой сегодня проблему для всего человечества. Не только *linguistic turn* британских аналитиков, но вся современная философия и методология всё более замыкается на этот фокус: понять человека, человеческое существование и судьбы человечества - не значит ли это для начала понять феномен языка? Человек обретается в интерпретированном мире, а интерпретированный мир есть язык в самом широком смысле. Хомский прав, когда говорит, что «не может быть науки обо всём сразу». Но приходится спрашивать, как можно мыслить язык, не размениваясь на мелочи вроде «функций творительного падежа в русском языке»? По всей видимости, требуется и парадигматическое переустройство лингвистики, и парадигматическое переустройство антропологии, а на вопрос, кто, или какая организация может взять на себя постепенное рациональное осуществление этой задачи, я пока вижу только один возможный ответ: университет

нового типа, «лингвистический университет» (но не по форме «института иностранных языков»). Такой проект предложен в книге [Литвинов 2010a], а задача перепостроения парадигм развёрнутым намёком в моих докладах «Вопрос о границах лингвистики» [Литвинов 2008c] и «Перспектива лингвистического университета» [Литвинов 2011b], которые были представлены в пятигорском ГЛУ, но к сожалению и здесь не удостоились обсуждения, а далее в статье «Антропологический аспект в проблеме гуманитарных технологий» [Литвинов 2013].

Мне представляется, что наука о языке вообще обречена на разлом. Разлом в XIX веке между культурологическим представлением языка у Гумбольдта и грамматически обеднённой (псевдо) онтологией языка в историческом языкознании не кажется таким значительным, как разлом в конце XX века между структуралистски обеднённой онтологией языка и веером онтологий на выбор в «Манагуанских лекциях» Хомского [Chomsky 1988: 35ff; Литвинов 1999a: 36], который годится только для собственного замысла Хомского, т.е. фокусировки на FL. Это всё наводит на мысль, что и в будущем не удастся построить объект «язык», о котором была бы возможна связная «наука» в любом смысле. Теория у Хомского остро заточена на объект, который лингвист не может назвать «языком». Его «биолингвистика» - это имманентная этология носителя языка. Но даже эта моя формулировка намекает на то, что вопрос «Что такое язык?» остаётся без ответа. Мне не раз приходилось слышать, что «язык - это то, чем занимаются лингвисты». Это определение можно было бы посчитать феноменологически интересным, если бы можно было определить принципиальное содержание интенциональности лингвиста. Это едва ли возможно.

Чтобы навести рабочий порядок в суете лингвистов «по эту сторону границы», надо бы осуществить ряд независимых феноменологических редукций - для «слова», «значения», «речевого акта», «грамматики», «текста» (а теперь есть ещё совершенно непроницаемые для рассудочного ума «концепты», и что-то ещё может появиться в ситуации осознанного кризиса нашей науки). Мои попытки провести такие анализы для «слова» [Литвинов 1973; 2009], «знака» [Литвинов 2010b], «значения» [Литвинов 1981; 1986: 5-16], «смысла» [Литвинов 1994; 1996b], «речевого акта» [Литвинов 1996a], «текста» [Литвинов 2000] и «грамматики» [Литвинов 1998] подсказывают мне, что набор определяемых таким образом онтологий не поддаётся синтезу. «Слово» некоторым образом есть в языке, но вообще-то принадлежит жизненному миру, с одной стороны, и культуре, с другой. «Смысл» принадлежит практике и работающему логосу (который тоже есть некоторым

образом «слово») и проходит по ведомству герменевтики. «Речевой акт» в смысле Остина-Сёрла по замыслу был элементом в аналитике деятельности, и у лингвистов он тоже не может быть просто единицей (грамматически понятого) языка. «Текст» принадлежит культуре, и только по аналогии устное сообщение тоже может именоваться «текстом». «Значение» по всей видимости - форма способности к языку, но только если «язык» понимается как коммуникация, а «коммуникация» как условие возможности социальности [Литвинов 1998-1999].

Граница языка совпадает с границей человеческого мира. В «социальном конструировании действительности» [Berger, Luckmann 1967] язык играет повсеместную роль. Нет никакой «внеязыковой действительности», хотя внеязыковую реальность можно полагать актом мысли, например, при обосновании естественных наук. Но «позитивистское» понятие науки, как заметил ещё Эдмунд Гуссерль в середине XX века, это «остаточное понятие культуры» [Husserl 1996: 7-8]. Естественная наука уже не служит современному человечеству, мир человека изменился радикально. См. особенно эту работу Гуссерля «Кризис европейских наук». Может быть, требуется обновлённое понятие науки, для феноменологии, герменевтики, методологии и других возможных мышлений, пригодных для разрешения современных гуманитарных проблем.

Если объект «язык» в полном смысле и по полной значимости не может быть синтезирован из своих проявлений, то лингвистика может стать чем-то большим, чем наука, может быть интеллектуальной практикой в логическом ряду «наука - герменевтика - методология - инженерия...». И культивировать её мог бы новый гуманитарный университет, «лингвистический университет». Но боюсь, что я пока не смог бы схематизировать формы лингвистического мышления, как я сделал это для научного, проектного, герменевтического и исторического мышления в моём «Полилоге» [Литвинов 1997: опыт 2]. Думаю, что собственно научный компонент в такой глобальной лингвистике был бы грамматикой, но грамматика, судя по всему, была бы множественной. А генеративная грамматика была бы отдельной наукой, но не была бы лингвистикой.

Центральный мотив этой проблематики - антропологический. Будучи гуманитарием, я не спрашиваю, где провести демаркационную линию между свойствами человека, которые можно моделировать как «природные», и прочими, определяемыми его принадлежностью к социальности и культуре. Я вообще не говорю о «природе» как реальности физического мира, предшествующей человеку; человек об-

ретається в окультуренній «вторій» природі, і більше того, саме поняття «природи» як зовнішньої по відношенню до людини об'єктивності є результатом історично оформившогося полагання, полагання нашої мислєю буття, незалежного від нашого свідомості, але в те ж час такого, з яким ми можемо щось робити. Це основоположно досліджено і переконливо представлено в філософії, яку Хомський принципово ігнорує; в російськом просторі см., наприклад, [Ахутин 1988]. Єстественно, що у мене на границі гетерогенних порядків логоса повинен бути більше широкий горизонт мислення, ніж у Хомського «там», і більше широкий, ніж у сучасного професійного лінгвіста «здесь». Не зв'язаний вимогами наукової точності, я при цьому широкому горизонті повинен мислити феноменологічно строго (напоминю об цьому розличенні точності і строгості у Гуссерля).

Феномен людини множитьсє і розслаиваетсє: людина по способу свого організмического існування індивідуальний, хоча належить до класу «стадних» тварин, як, наприклад, вовк або слон в відміння від лисици і ведмедя. Ця природна стадність у людини перетворена в соціальність, це очевидно ефект мови. І не видно ніякої можливості зрозуміти цю особливість біологічного виду «людина» без аналізу його гуманітарного характеру: сигнал стає знаком, поведінка - діяльністю, і тільки так можливо, що стадо стає соціумом, а цей біологічний вид людиною. Можна придати додаткову заостреність цьому питанню, проінтерпретировавши людину як «популярний об'єкт» наукової теорії, яка в цьому випадку буде можливою, як в [Щедровицкий 2005: 245-284]. Вона буде зв'язана з власне науковим вивченням мови-мислення [там же: 245].

Ми вимушені, якщо мислимо строго, сказати, що соціальність людини належить до його природним властивостям, хоча вірно, що мозок є у індивідуальної людини. Але чи означає це, що *mind* теж розуміється як індивідуальне і не може бути зрозуміто інакше? Вже цим обґрунтовується редукція (а по суті абстракція!) *language* до *I-language* (*internalized, individual*, але чому-то ще і *intensional*). Такі визначення можуть робити зрозумілою теоретичну дійсність, радикально спотворюючи реальність. Але чи не «точна» наука в решті не робить те ж саме? Сп. про це в розділі книги Гуссерля о математизації і «точності» [Husserl 1996: 34-38].

Розділив мислєю «природного», «соціального» і «культурного» людини, ми повинні будемо знову зібрати їх в ціле: не тільки по-

тому, что природный человек с необходимостью социален, но и потому, что социальный человек с необходимостью причастен культуре: без интерпретации знак - не более чем сигнал, а возможность интерпретации сигналов как знаков обеспечивается запасом лексики, связи которой ведут в «мировую библиотеку». В этом смысле человеку «врождён разум» (*Vernunft*), как его *τέλος* [Husserl 1996: 15]. Человек «читающий» и человек «мыслящий» коэксстенсивны. Язык очевидно имеет характер операторики, E-language (т.е. язык коммуницирующего человека, правда по Хомскому всё равно индивидуальному: “external to FL, internal to the person”, как сказано в «Пофазовой деривации» [Chomsky 2001: 1]) - это действительно универсальный механизм сопряжения материального слова с интерфейсным приноравливанием возможностей выражения к условиям понимания, но «для мышления первоначально нужны двое» (Фейербах), и это значит, что язык изначально заточен под социального человека, хотя и можно спрашивать о том, как это реализовано организмически. Отдельный случайный «маугли», как известно, вырастает не вполне человеком. Язык врождён в индивидуальном организме как естественное условие его неиндивидуальности. Социальный человек - не сумма индивидуальных человек, граница сознания (и всякого *mind*) не проходит по границе индивидуального тела.

Как же понять беспрецедентный успех Хомского, который так искажил в своём учении образ человека, свёл мышление к образам компьютерной операторики, всерьёз принял собственную выдумку о гениальном примате, в мозге которого произошёл этот перебой нормальной генетической программы (а он далее породил наследников этого отклонения в будущий прогресс рода, «a great leap forward in human intellectual and moral faculties» [Chomsky 2008: 135])? Казалось бы, всё неправдоподобно, всё не про человека, какого мы знаем, и не про язык, какой мы знаем.

Хомский примитивен. Наверно это приходило на ум многим, кто читал его десятилетиями. Но он создал новую ситуацию в лингвистике, парадоксальную ситуацию, с которой придётся разобраться, а как разобраться, он не сказал. Это естественно, поскольку создавать ситуацию он не намеревался, он всего лишь первым из лингвистов попытался сделать лингвистику естественной наукой. Она у него стала естественной наукой, но перестала быть лингвистикой, и как мы видим, иначе не могло быть. Волей-неволей мы, а не Хомский, должны разрешать проблемную ситуацию, и придётся отвечать как минимум на два вопроса:

Вопрос 1: Как можно вписать результаты, получаемые Хомским, в корпус знания о языке и человеке?

Вопрос 2: Как лингвистика «как таковая» должна жить с этой травмой, полученной ею при попытке подняться до уровня «настоящей науки»?

Я говорю: «как минимум». Действительно, может быть надо бы заново поставить вопросы: 3. Что такое лингвистика? и 4. Что такое наука? Начитавшись Гуссерля и Щедровицкого, мы иной раз склонны посматривать на Хомского свысока, но, как сказано нами где-то выше, для спеси нет оснований.

Обратимся к первому вопросу. Мы заметили, что не можем просто интерпретировать антропологию Хомского как онтологию индивидуального человека, определив его место по отношению к человеку социальному и культурному. Индивидуальный человек по природе социален, и только в ходе взросления способен индивидуализироваться как носитель особого сознания и особого языка. Значит, определяем хомскианскому *I-language* место в организме, который отделен от других и поэтому в нашем мышлении может быть изолирован как носитель FL. Самое интересное свойство этого конструктора с точки зрения нашей антропологии то, что L есть опосредование интерфейсов, или, по моему выражению (с памятью о схематизмах Ельмслева) интерфейс между интерфейсами. Понятие заимствовано из искусственного интеллекта, но интересным образом характеризует именно человеческое свойство искусственного разума. Выполняемое условие преобразования сигнала в знак по формуле  $\pi(\pi, \lambda)$ , где автономное использование сигнала  $\pi$  или его метаязыковое определение - это и есть учреждение формы возможности значения, и в этом смысле значение есть условие возможности языка (а общая семантика Щедровицкого в моей интерпретации - условие возможности «научной лингвистики» [Литвинов 2008а: 211-212]). Хомский предлагает тезис: «The only linguistically significant levels are the interface levels» [Chomsky 2000: 113]. Правда, он говорит это в связи с тем, что надо отказаться от «глубинной» и «поверхностной» и возможных прочих «структур» в предшествующих версиях грамматики, но я прочитываю его изолированно и дословно. Два «интерфейсных уровня» делают теорию FL Хомского гомоморфной схематизмам пятигорской конструктивной герменевтики. Если мы на изображении трёхмерного «пространства содержания» расположим  $\lambda$  на левой плоскости, а  $\pi$  на правой, то автономное повторение  $\pi$  на нижней плоскости интерпретатора будет герменевтической схемой «по Хомскому» (движение в герменевтическом круге против часовой стрелки).



Отсюда можно извлечь подсказку для того, кто поставит в рамках нашей традиции вопрос о «герменевтике мозга»: читайте работы позднего (после «Минималистской программы» 1995 года) Хомского и принаровите к ним ваш герменевтический дискурс. Правда, над понятиями придётся поработать.

Признаюсь, эта мысль пришла мне в голову в связи с тем, что Хомский однажды отреагировал на предложенный ему термин «*cerebral hermeneutics*» [Chomsky 1986: 43]. Ему это понятие не подошло. Речь шла о статье Гунтера Стента из калифорнийского университета в Беркли «Церебральная герменевтика» [Stent 1981], в которой зрительное восприятие интерпретировалось по теории Дэвида Марра. Процесс зрительного декодирования пространственных образов с пошаговым предвосхищением центральной нервной системой последующих деталей, как его описывал Марр, радикально схож с теорией понимания классика европейской герменевтики Фридриха Шлейермахера: *primary sketch* в зрительном восприятии - это так *Vor-Verständnis* в герменевтическом понимании. Я бы согласился с Хомским, что для генеративной теории сознания/мозга это не подходит: структура FL - не процессная последовательность накопления опыта. Но моя мысль отлична от мысли Стента. FL теории Хомского - человеческий феномен, и главным фокусом внимания, как предположено в [Chomsky 2008: 136], должна быть оптимизация отображения компьютеринга на *S-I interface*, т.е. интерфейс в основе «плана содержания». «Лексическая единица», LI, на этом интерфейсе порождается перебором возможных признаков из уже существующего Lex, «лексикона», т.е. уже существующего языка-в-мире. (Вопрос об эволюционном «скачке», породившем операцию *Merge* и язык как исчисление, оказывается неразрешённым. Но это уже не забота герменевта.)

Второй вопрос поставлен о «травме», с которой живёт лингвистика после могучего акта Хомского. Ей (лингвистике) показали, что значит быть наукой, и приговорили её к новому самоопределению, к которому она может быть ещё не готова.

Событие Хомского произошло с нами. С опытом чтения Хомского мы возвращаемся в своё гуманитарное пространство и констатируем, что у нас «настоящей науки» не было и нет. А что было?

Были попытки строить теорию языка по гипотетико-дедуктивной схеме: располагая данными о языках и диалектах индоевропейской семьи языков, мы конструируем для неё «праязык», из которого, используя понятие «языкового закона», дедуктивно выводим эволюционные процессы, породившие, согласно этому допущению, все языки

и диалекты семьи. Август Шлейхер, первый великий натуралист в истории языкознания, сделал это в форме «порождающей» теории. Как в любой хорошей науке, о составе форм «глубинной структуры», т.е. праязыка, и интерпретации генетических фактов можно было спорить, уповая на то, что постепенно будет достигнуто теоретическое совершенство, а *perfect design of the architecture of language history*, сказал бы я, заимствуя дискурс Хомского. Хомский этот прецедент не обсуждал, и можно понять его резон: в сравнительно-историческом языкознании не было научного понятия языка. Слово «язык» было по сути мистическим, и не случайно младограмматики, в том числе ранний Ф.де Соссюр, усомнились в реальном существовании того, что шлейхерианцы называли «языком». Младограмматики хотели быть реалистами, разделяя всеобщее томление конца века по «материализму». Язык, говорил Герман Пауль, это просто всё множество конкретных речевых актов говорящих людей. Но как с таким примитивным позитивизмом делать науку?

В это же самое время философы-неокантианцы поставили важный вопрос о различии на уровне фундаментального принципа наук о природе и наук о человеке. После Соссюра лингвисты предложили «структуральную науку», где вера в структуры делала излишней веру в законы природы. Это Хомский тоже не обсуждает, ведь человек - это тоже природа, значит, науки о человеке должны быть, считает он, *natural sciences*, или это не «науки», не *sciences*. У *humanities* могут быть свои достоинства, но не надо смешивать разные вещи. Он мог бы сказать, как Лютер: здесь стою и не могу иначе.

Чтобы нам по эту сторону границы понять себя в отличие от Хомского, мы должны ясно сказать, что науки о человеке для нас - это в первую очередь «науки о духе», *Geisteswissenschaften*, и лишь во вторую - также «науки о природе». И более того, мы должны сказать, что понятие природы применительно к человеку не сводится к биологии индивида, а включает социальную природу. Это, между прочим, всегда молчаливо предполагалось, когда речь шла о научном познании языка. Но предполагать недостаточно: надо было это ясно выразить и извлечь из этого необходимые требования к теории: нам нужна онтология языка, т.е. научная картина его действительности, и в ней должны быть реалистически прорисованы действительность значения, действительность слова, действительность речевого акта. Соссюр и структуралисты сделали первый шаг, задав онтологический образ склеенных «выражения» и «содержания». Это, как мы заметили, закрепилось у нас, но также и у Хомского. Что дальше? Нам нужны толковые

допущения (т.е. одновременно реалистичные и конструктивно-продуктивные) для моделирования «социального человека» в его природной основе. Сделаем как Хомский: придумаем супер-инженера, который «спроектировал» это. В нашем случае он проектирует социальную природу.

Я уже предлагал в этом смысле понятие «гуманитарной технологии», которое пригодно как в проектном, так и в исследовательском режимах [Литвинов 2013]. Определим гуманитарную технологию (ГТ) как «технокультуру коммуникативной среды», определим коммуникацию как речевые взаимодействия по поводу общего дела с переходами в метаречь мышления. Таким образом мы получаем схемы, объясняющие знак и значение как эффект  $\pi(\pi, \lambda)$ , мышление как производство высказываемых текстов, закрепляющих, варьирующих и изменяющих значения в системах значений, и конструирование действительности примерно в смысле традиции, потянувшейся за книгой Бергера и Лукмана «The social construction of reality» [Berger, Luckmann 1967; Gubrium, Holstein 2008].

Мой анализ ситуации в лингвистике после XX века [Литвинов рукопись] подсказывает, что на первый план выходят два проблемных комплекса: проблема реалистической семантики и проблема метаграмматики. Методологической основой могла бы быть концепция мыследеятельности на линии Г.П. Щедровицкого. Она значительно сложнее, чем картезианский рационализм. Но ведь, при всём восхищении работой Хомского, трудно не признать, что его проблемы технически сложны, а содержательно мелки. Наши же, напротив, кажутся нам (может быть, ошибочно кажутся) не столь трудными, но содержательно бесконечно более богатыми.

А у Хомского надо учиться последовательной установке на реализм и находить для него лучшее применение. За Хомским неизбежно придётся признать вклад в научную антропологию: он показал путь в изучении условий возможности человека социального, выполненных на организме человека индивидуального. Я думаю, что разных лингвистик языка будет много (см. [Литвинов 2004: 299-305; 2008: 144]), но по крайней мере теоретический синтаксис может много чего позаимствовать в генеративной лингвистике, если сможет отделить изучаемые свойства конструкций от зацикленности на FL. Книга [Тестелец 2001] в этом отношении более поучительна, чем работы генеративистов, считающих себя «германистами», с упоминания которых я начал эту статью.

### **Цитированные источники**

1. Ахутин А.В. Понятие «природа» в античности и в Новое время (фюсис» и «натура»). М.: Наука, 1988. 208 с.
2. Карасёв О.В. Герменевтический круг // Вопросы германистики. Вып. 3. Пятигорск: ПГЛУ, 2001. С. 80-88.
3. Литвинов В.П. О статусе лингвистического факта // Исследования по теории немецкого языка. Пятигорск: ПГПИИЯ, 1973. С. 3-12.
4. Литвинов В.П. К проблеме семантического факта // Семантика и структура предложения и текста. Грозный: ЧИГУ, 1981. С. 136-141.
5. Литвинов В.П. Типологический метод в лингвистической семантике. Ростов-на-Дону: РГУ, 1986. 168 с.
6. Литвинов В.П. Феномен содержания // Вопросы методологии. 1994. № 3-4. С. 22-28.
7. Литвинов В.П. Герменевтика и социология в прагматической теории речевых актов // Вопросы методологии. 1996а. № 1-2. С. 70-74.
8. Литвинов В.П. Структура герменевтического факта (к проблеме фактичности смысла) // Вестник Пятигорского государственного лингвистического университета. 1996б. № 1. С. 36-46.
9. Литвинов В.П. Полилогос: проблемное поле. Опыт первый. Опыт второй. Тольятти: Изд. Международной академии бизнеса и банковского дела, 1997. 180 с.
10. Литвинов В.П. Метаграмматический трактат. Пятигорск: ПГЛУ, 1998. IV+ 216 с.
11. Литвинов В.П. Мышление Ноама Хомского. Тольятти: Изд. Международной академии бизнеса и банковского дела, 1999а. 115 с.
12. Литвинов В.П. Номо grammaticus (лейтмотив с вариациями на темы философской антропологии) // Горизонты гуманитарного знания. Пятигорск: ПГЛУ, 1999б. С. 44-55.
13. Литвинов В.П. Феноменология текста // Вопросы германистики. Вып. II. Пятигорск: ПГЛУ, 2000. С. 153-164.
14. Литвинов В.П. Мышление по поводу языка в традиции Г.П. Щедровицкого // Познающее мышление и социальное действие. Наследие Г.П. Щедровицкого в контексте отечественной и мировой философской мысли. Под ред. Н.И. Кузнецовой. М.: Ф.А.С., 2004. С. 249-305.
15. Литвинов В.П. Германское языкознание сегодня // Вопросы германистики. Вып. VII. Пятигорск: ПГЛУ, 2005. С. 82-94 (откорректированный текст на сайте Инны Воробей: [inyaz-surgut.ru/v-p-litvinov](http://inyaz-surgut.ru/v-p-litvinov)).

16. Литвинов В.П. Понятое мышление // Кентавр. Методологический и игротехнический альманах. Вып. 40. М., 2007. С. 29-48.
17. Литвинов В.П. Гуманитарная философия Г.П. Щедровицкого. М.: НФФ «Институт развития им. Г.П. Щедровицкого», 2008а. 407 с.
18. Литвинов В.П. Как работать в герменевтике с категорией «сознание»? // Понимание и рефлексия в образовании, культуре и коммуникации. Тверь: Тверской государственный университет, 2008b. С. 120-132.
19. Литвинов В.П. Вопрос о границах лингвистики // Университетские чтения-2008. Часть 1: Пленарные заседания. Пятигорск: ПГЛУ, 2008с. С. 45-53.
20. Литвинов В.П. Феномен слова // Вестник Тверского государственного университета. Серия Филология. Вып. 4. 2009. № 29. С. 101-119.
21. Литвинов В.П. Проектирование будущего университета. Пятигорск: ПГЛУ, 2010а. 199 с.
22. Литвинов В.П. Феноменология знака // Георгий Петрович Щедровицкий. Под ред. П.Г. Щедровицкого и В.Л. Даниловой. М.: РОССПЭН, 2010b. С. 234-261.
23. Литвинов В.П. Герменевтический круг как мыслительная форма // Герменевтический круг: Текст – смысл – интерпретация. Ред. И.П. Черкасова. Армавир: Изд. Армавирской государственной педагогической академии, 2011а. С. 6-24.
24. Литвинов В.П. Перспектива лингвистического университета // Университетские чтения-2011. Часть 1: Пленарные заседания. Пятигорск: ПГЛУ, 2011b. С. 36-43.
25. Литвинов В.П. Антропологический аспект в проблеме гуманитарных технологий // Вестник Пятигорского государственного лингвистического университета. 2013. № 3. С. 39-48.
26. Литвинов В.П. Интеллектуальный опыт лингвистики XX века. Рукопись.
27. Тестелец Я.Г. Введение в общий синтаксис. М.: Изд. Российского государственного гуманитарного университета, 2001. 797 с.
28. Хомский Ноам. Картезианская лингвистика. М.: URSS/КомКнига, 2005а. 232 с. (оригинал: Cartesian Linguistics. A chapter in the history of rationalist thought. NY & L: Harper & Row, 1966. 119 p.).
29. Хомский Ноам. О природе и языке. М.: URSS, 2005b. 288 с.
30. Щедровицкий Г.П. Смысл и значение // Проблемы семантики. М.: Наука, 1974. С. 76-111.
31. Щедровицкий Г.П. Мышление - Понимание – Рефлексия. М.: Изд.

- «Наследие ММК», 2005. 800 с.
32. Berger Peter, Luckmann Thomas. The social construction of reality. L.: Allen Lane The Penguins Books, 1967. 249 p.
  33. Chomsky Noam. Langue. Linguistique. Politique. Dialogues avec Mitsou Ronat. Paris: Flammarion, 1977. 210 p.
  34. Chomsky Noam. Language and problems of knowledge. The Managua lectures. Cambridge, Mass. & London, GB: The MIT Press. X + 205 p.
  35. Chomsky Noam. Knowledge of language. Its nature, origin, and use. NY etc.: Praeger, 1986. XXIX + 311 p.
  36. Chomsky, Noam. The minimalist program. Cambridge, Mass.: The MIT Press, 1995. 426 p.
  37. Chomsky Noam. A review of B.F. Skinner's Verbal Behavior // Readings in language and mind. Ed. by H. Geirsson and M. Losonsky. Cambridge Mass. and Oxford University Press: Blackwell, 1996. P. 413-441.
  38. Chomsky Noam. New horizons in the study of language and mind. Cambridge University Press, 2000a. XVII + 230 p.
  39. Chomsky Noam. Minimalist inquiries: The framework // Step by step. Essays in minimalist syntax in honor of Howard Lasnik. Ed. by R. Martin, D. Michaels and J. Uriagereka. Cambridge, Mass.: The MIT Press, 2000b. P. 89-155.
  40. Chomsky, Noam. Derivation by phase // Ken Hale: a life in language. Ed. by M. Kenstowicz. Cambridge, Mass.: The MIT Press, 2001. P. 15-52.
  41. Chomsky Noam. On phases // Foundational issues in linguistic theory. Essays in honor of Jean-Roger Vergnaud. Ed. by R. Freidin, C.P. Otero and M.Z. Zubizarreta. Cambridge, Mass. & London, GB: The MIT Press, 2008. P. 133-166.
  42. Chomsky Noam. The science of language. Interviews with James McGilvray. Cambridge University press, 2012. 328 p.
  43. Gubrium J.F., Holstein J.A. The constructionist mosaic // Handbook of constructionist research. NY: Guilford Publ., 2008. P. 3-10.
  44. Husserl Edmund. Die Krisis der europäischen Wissenschaften und die transzendente Phänomenologie. 3. Aufl. Hamburg: Felix Meiner, 1996. XXXIII + 119 S.
  45. Jenkins Lyle. Biolinguistics: Exploring the biology of language. Cambridge University Press, 2000. XIII + 264 p.
  46. Merleau-Ponty Maurice. Phénoménologie de la perception. Paris: Gallimard, 1945.
  47. Piattelli-Palmarini M., Language and Learning. The debate between Jean Piaget and Noam Chomsky. Cambridge, Mass.: The MIT Press, 1980.

48. Stent Gunther S. Cerebral hermeneutics // Journal of Social and Biological Structures. Vol. 4, n. 2, 1981. P. 107-124.
49. The American Heritage Dictionary. College edition in Boston. Boston: Houghton Mifflin Company, 1985. 1568 p.
50. Waldenfels Bernhard. Ordnung im Zwielficht. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1987. 261 S.
51. Waldenfels Bernhard. Der Stachel des Fremden. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1990. 278 S.
52. Wierzbicka Anna. English. Meaning and Culture. Oxford University Press, 2006. X + 352 p.

## ПОЛЬСКАЯ ТЕМА В «БАЛЛАДЕ О ВЕЧНОМ ОГНЕ» АЛЕКСАНДРА ГАЛИЧА

Я не включаю в мою статью полный текст «Баллады» Галича, доступный в разных изданиях его стихов и, кроме того, легко доступный в Интернете. Экономлю место и просто рассчитываю на читателя, который знает это произведение или не поленился прочитать его до того, как заинтересовался моей публикацией. Ознакомившись с «Балладой о вечном огне», читатель (это неизбежно!) удивился его конструкции «лоскутного одеяла». Настоящая статья – попытка интерпретации этого произведения с прояснением особого характера его содержательности. В моём тексте выделяются курсивом цитируемые выражения и фрагменты из «Баллады о вечном огне». Полужирный шрифт – акцентное выделение.

### **1. Содержательно сложный текст**

Очевидно, слово «баллада» в названии употреблено иронично. Этот текст составлен из обрывочных намёков на нерассказываемые баллады: о премьерерах, возлагающих цветы к Вечному огню (здесь текст связный, и авторское Я за текстом легко определяется), а далее – обрывки псевдобаллад о восстании в варшавском гетто, о музыке в Освенциме (к этому есть авторское пояснение перед началом стихотворения), о штурме монастыря-крепости Монте-Кассино в Италии в 1944 году (вперемешку с образами послевоенной ярмарки в Познани!), о каких-то «двух урочках», пошедших за «языком», и смерти одного из них, далее о заключённых на лесоповале в сталинских лагерях. И эти псевдосюжетные пассажи не выстроены по какой-то логике содержания, а свободно тасуются и взаимно накладываются один на другой. Например:

*Пой же, труба, пой же,*

*Пой и зови к бою!*

(думаем о восстании гетто)

*Медною всей плотью*

*Пой про мою Потьму!*

(Потьма – известный лагерь для  
политзаключённых в СССР)

*Пой о моём брате –*

*Там в Ледяной Пади!..*

*Ах, как зовёт эта горькая медь*

*Встать, чтобы драться, встать, чтобы сметь!* (гетто)

*Тум-балалайка, шпил балалайка* (любимая мелодия коменданта  
Освенцима, как сообщает Галич в предваряющей заметке)

и так далее



Кроме того, в «Балладе о вечном огне» произвольно тасуются формы грамматического лица:

*Слышишь [ты = собеседник (чей? автора?)], труба в гетто  
Мёртвых зовёт к бою!  
Пой же, труба, пой же [ты = труба],  
Пой о моей [лирическое Я!] Польше...  
Тум-балалайка, шпил балалайка,  
Рвётся и плачет сердце моё [я = автор?].*

Кроме того, появляются характерные «вы» и «мы», напоминающие о сцене из фильма Анджея Вайды «Пепел и алмаз» 1958 года, где фоном проходит песня о маках на Монте-Кассино:

*Подождите, пока не поздно,  
Не забудьте, как это было!  
Как нас чёрным огнём косило  
В той последней слепой атаке...  
«Маки, маки на Монте-Кассино»,  
Как мы падали в эти маки.*

Интерпретация сложных текстов – задача герменевтики. Герменевтическая мысль отправляется от артикулированной ситуации непонимания. Нам следует (может быть) дать ответ на следующие вопросы:

- Как зафиксировать «лирического героя» этого стихотворения? (И нужно ли это?)

- Как трактовать лакуны содержания (или: содержаний)?

- Как трактовать «цитируемую» музыку (образ поющей трубы; упоминаемые разнохарактерные песни, нерусские тексты которых читатель почти наверняка не знает)?

- Если это стихи о Польше, то при чём здесь «штабеля лесосплава» и «товарищ Сталин»? А если в них более общее содержание и более общий смысл, то зачем точно повторяется польская тема без указания на содержание «сюжетов»?

Вопросов, вообще говоря, может быть и больше, а получить желательное одно решение для всей их совокупности. Чем обеспечивается цельность этого художественного продукта из-под пера автора, судьба которого известна и достаточно понятна (см. [Аронов 2012]), в отличие от многих моментов его творческого наследия?

Текст «Баллады» начинается с посвящения Льву Копелеву, одному из тех людей, с которыми Галича связывала общая гражданская позиция, а далее – двух пояснений к «цитируемым» песням:

а) «...Мне рассказывали, что любимой мелодией лагерного начальства в Освенциме, мелодией, под которую отправляли на смерть

очередную партию заключённых, была песенка 'Тум-балалайка', которую обычно исполнял оркестр заключённых».

б) «'Червоны маки на Монте-Кассино' – песня польского Сопротивления».

Я не случайно заключил в кавычки слово «цитируемых», эти песни на самом деле даже намёком не цитируются. Это надо показать на материале.

а) «Тум-балалайка» – известная фольклорная песня восточнославянских евреев, равно в России и в Польше. Язык песни – идиш. Как мелодия песни, так и её текст в разных народных вариантах не имеют отношения ни к трагедии еврейского народа, ни к борьбе за свободу. Текст продолжает древнюю традицию поэзии в немецком языковом пространстве: парень ухаживает за девушкой, на которой хочет жениться, и ведёт с ней диалог. Посмотрим один фрагмент с подстрочником (здесь текст идиш даётся в кириллической записи, добавляется только знак **h** для начального придыхания):

*Мэйдл, мэйдл, хвил ба дир фрэйгн:*

«Девушка, девушка, я хочу у тебя спросить»

*Вус кэн ваксн, ваксн он рэйгн?*

«Что может расти, расти без дождя?»

*Вус кэн брэнен ун нит ойфхэрн?*

«Что может гореть и не переставать?»

*Вус кэн бэйнкн, вэйнен он трэрн?*

«Что может тосковать, плакать без слёз?»

Припев:

*Тум бала, тум бала, тум балалайкэ*

*Тум бала, тум бала, тум балала*

*Тум балалайкэ, шпил балалайкэ*

*Шпил балалайкэ, фрэйлех зол зайн!*

«Играй, балалайка, весело должно быть» (т.е. «пусть будет весело»).

Девушка отвечает, что камень может расти без дождя, любовь может гореть и не переставать, сердце может тосковать и плакать без слёз.

Под эту песню можно хорошо плясать и праздновать, но не скорбеть или воевать. Но Галич берёт эту песню, так сказать, в модальности Освенцима, как знак Холокоста, и только одну деталь можно считать контрастной псевдочитацией: вместо «Играй, балалайка, пусть будет весело» у Галича дважды «Рвётся и плачет сердце моё». Впрочем, мотив пляски прорезается в середине его «Баллады» в варианте «пляска смерти»:

*Помнишь, как шёл ошалелый паяц  
Перед шеренгой на Аппельплац,  
Тум-балалайка, шпил балалайка,  
В газовой камере – мёртвые в пляс...*

б) «Czerwone maki na Monte Cassino» – польская героическая песня, посвящённая штурму крепости-монастыря на горе Монте-Кассино силами польских улан (Второй польский корпус в составе союзнических войск). Цитирую историческую справку из российской Википедии:

«На рубеже 1943-1944 годов Второй польский корпус под командованием генерала Андерса был переброшен с Ближнего Востока в Италию, где принял участие в боях по прорыву линии Густава, прикрывавшей Рим с юга. Ключевым пунктом немецких укреплений был монастырь бенедиктинцев Монте-Кассино на одноимённой горе. Монастырь был совершенно разрушен, но это однако не помешало немецким парашютистам защищать его с большим упорством.

Три штурма монастыря, предпринятые союзниками, оказались безуспешными. В мае 1944 года начался новый, четвёртый штурм. По просьбе генерала Андерса, польские части были поставлены на решающем направлении – против самого монастыря. Первая польская атака, кровопролитная, но не увенчавшаяся особым успехом, состоялась 11 мая. 17 мая атаки возобновились. Ночью немцы вывели войска из монастыря из-за угрозы обхода с тыла, и в 9-50 18 мая разведчики 12-го полка польских улан подняли над монастырём национальный польский флаг. В боях под Монте-Кассино 2-й Польский корпус потерял 924 человека убитыми и 4199 ранеными, что составляло более 10 % численности корпуса и треть всех его потерь за войну».

Такова сухая информация из Википедии, которую Галич в этом виде не читал. Могло ли его замечание о «песне польского Сопротивления» быть невольной ошибкой? Ведь польская армия реально участвовала в войне. Естественно, Галич знал об этом, как и об участии сотысячного (в конце войны – четырёхсоттысячного) Войска польского в составе Красной армии; но может быть, он имел в виду «сопротивление» не только фашистским оккупантам Польши, но и особую симпатию поляков к армии Андерса, «Армии крайовой», идеологически связанной не с Москвой, а с Лондоном. В «Балладе» это остаётся недосказанным.

Имел ли он в виду содержание этой песни, знал ли вообще этот польский текст? В качестве характерного фрагмента предлагаю припев с подстрочником:

*Czerwone maki na Monte Cassino*  
«Красные маки на Монте-Кассино»  
*Zamiast rosy piły polską krew.*  
«Вместо росы пили польскую кровь»  
*Po tych makach szedł żołnierz i ginał,*  
«По тем макам шёл солдат и погибал»  
*Lecz od śmierci silniejszy był gniew.*  
«Но [от] смерти сильнее был гнев»  
*Przejdą lata i wieki przeminą,*  
«Пройдут года и века минуют»  
*Pozostaną ślady dawnych dni.*  
«Останутся следы давних дней»  
*I tylko maki na Monte Cassino*  
«И только маки на Монте-Кассино»  
*Czerwieńsze będą, bo z polskiej wzrosną krwi.*  
«Краснее будут, потому что из польской прорастут крови».

То есть, песня героическая и трагическая одновременно. В исполнении Ансамбля песни и пляски Российской армии им. Александрова (на гастролях в Польше), доступном в Интернете, присутствует залихватский акцент с характерным русским переплясом – это не в стиле данной песни. Галич, знал ли он этот текст или не знал, в своём псевдоцитировании более адекватен:

*Как нас чёрным огнём косило*  
*В той последней слепой атаке...*  
*«Маки, маки на Монте-Кассино»,*  
*Как мы падали в эти маки.*

И всё же попытка включить содержание песни в анализ смысла «Баллады» Галича окажется излишней. Хотя в тексте «Красных маков» в одном пассаже упоминается борьба за свободу (*Bo wolność krzyżami się mierzy* «Потому что свобода крестами измеряется»), но это не более чем деталь – как не более чем деталь, например, мотив, как выбрать в жёны такую, чтобы перед людьми не было стыдно, в песне «Тум-балалайка» (*Вэмэн цу нэмэн ин нит фаршэмэн?*). Героические моменты в истории польского оружия, упоминаемые в песне о маках на Монте-Кассино, характерным образом не связаны с борьбой за свободу. Польские герои погибали в бою,

*Jak ci z Samosierry szaleńci,*  
«Как те из Самосьерры смельчаки»  
*Jak ci spod Rokitny sprzed lat.*  
«Как те из-под Рокитны, много лет назад».

Польская Википедия даёт достаточную информацию об упоминаемых в песне событиях. В начале XIX века польские кавалеристы провели блестящую атаку в составе армии Наполеона против испанских мятежников в Самосьерре. В 1915 году польский кавалерийский эскадрон одержал яркую победу под селением Рокитна в составе русской армии против армии Австро-Венгрии. В Италии в 1944 году польский корпус генерала Андерса сражался с фашистами в составе британской армии; а в освобождении Польши от фашистской оккупации, напротив, эффективно воевало в составе Красной армии Войско польское, участвовавшее в освобождении Варшавы и в штурме Берлина. Но к нему-то песня о красных маках не имеет отношения.

Генерал Владислав Андерс (1892 – 1970) – самый известный военачальник в истории польского воинства. Он командовал национальной армией (*Armia Krajowa*) в независимой Польше в 1930-е годы, во время войны в Советском Союзе по соглашению между советским правительством и польским правительством в изгнании (правительство Сикорского в Англии) создал Польскую освободительную армию. Поскольку он не желал воевать в составе Красной армии, Сталин разрешил и помог Андерсу перевести его подразделения на Ближний Восток со всем оснащением и вооружением; но многие поляки предпочли воевать с фашизмом в СССР и создали «дивизию имени Костюшко», из которой далее выросло Войско польское. В 1943-м году корпус Андерса был переброшен в Италию, где он прославился штурмом Монте-Кассино. (По завещанию Андерса, он был похоронен там, где покрыли себя славой его уланы, у монастыря Монте-Кассино.) В конце войны Армия Крайова осуществила множество террористических актов против постов Красной армии; было ли это инициировано Андерсом, неизвестно. Известно, что после войны он был идеологическим противником Советского Союза. Когда Галич характеризует «Красные маки» как песню «польского Сопrotивления», это может быть связано с тем, что Монте-Кассино ассоциируется у поляков с Андерсом, хотя в песне нет его имени. Просто подвиг на Монте-Кассино – это подвиг «другой» польской армии, и для кого-то это может быть значимо. Психологический драматизм польского патриотического сознания – это тема фильма «Пепел и алмаз», о котором Галич вполне мог думать, что его в России знают все его читатели.

Надо ли в какой-то мере располагать информацией о содержании этих песен и связанных с ними ассоциациях, чтобы «правильно прочитать» стихотворение Галича? Не будем спешить с ответом на этот вопрос.

Самая непонятная часть «Баллады о вечном огне» – сюжет о двух урочках, отправившихся в поход за «языком». Процесс тематизации начинается с непоэтического *А вот ещё*. Присмотримся к тексту:

*А вот ещё:  
В мазурочке,  
То шагом, то ползком,  
Отправились два урочки  
В поход за «языком»!  
В мазурочке, в мазурочке,  
Нафабрены усы,  
Затикали в подсумочке  
Трофейные часы!  
Мы пьём, гуляем в Познани  
Три ночи и три дня...  
Ушёл он неопознанный,  
Засёк патруль меня!  
Ой, зори бирюзовые,  
Закаты – анилин!  
Пошли мои кирзовые  
На город на Берлин!  
Грома гремят басовые  
На линии огня,  
Идут мои кирзовые,  
Да только без меня!..*

Итак, по «сюжету» кто-то вместе с другим (и оба названы урочками) отправился куда-то (сказано за «языком», но это в кавычках) и пришёл с другим в Познань с покрашенными усами, и там они почему-то пьют-гуляют, но потом того, который «лирическое Я», засекает какой-то патруль и очевидно его расстреливает, потому что его *кирзовые* на Берлин идут уже без него. Мой предшественник, анализировавший это произведение Галича, С.В. Свиридов из университета им. И.Канта в Калининграде, трактует это как сюжет о мародёрствующих красноармейцах: в этом случае *трофейные часы* надо понимать в переносном смысле, как украденные, а *патруль* должен быть красноармейский. Свиридов упоминает, что Галич слышал устные рассказы Льва Копелева о мародёрстве красноармейцев в Германии (однако, не в Польше!). Но погибший на войне всё равно – коррелят «неизвестного солдата» при Красной площади. Цитирую: «Галич высказывает крамольную мысль, что в Могиле неизвестного солдата может покоиться не герой, а безымянный дезертир и мародёр, расстрелянный патрулём. Условные знаки памяти готовы стерпеть и такую подмену» [Свиридов 2009].

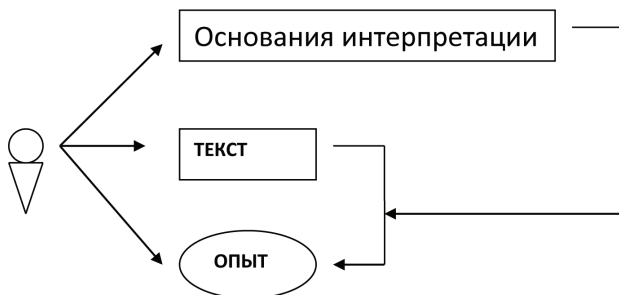
Добавлю от себя, что начало стихотворения Галича (об этой загадке) позволяет думать, что такая трактовка не исключена. Вдобавок можно вспомнить, что у Галича есть ещё отдельная песня «Марш мародёров».

Трактовка Свиридова возможна, но отнюдь не обязательна. Ни на дезертирство, ни на мародёрство в этом тексте достаточного указания нет, и «горе-провидец», во всяком случае, не «уркаган». А что ещё может быть? Могли пойти за языком солдаты штрафбата (как в современном телесериале Н.Досталя «Штрафбат»). Или разведчики в тылу врага маскировались под криминальную среду. Во всяком случае, они были из разведки (*Прости-прощай, разведка ротная...*), а что нет на могиле дощечки со звездой – это такая индивидуальная судьба. Должны ли мы предпринимать всё новые усилия, чтобы прийти к интерпретации, которая будет бесспорна? Нужно ли считать, что без ответа на этот вопрос мы не можем «правильно прочитать» стихотворение Галича? Зависит ли «правильное понимание» от того, был ли тот патруль определён как красноармейский (но – за линией фронта?), или немецкий, или польский на службе оккупантов?

## 2. Герменевтический подход

Анализ понимания и смыслообразования – дело герменевтики. Герменевтика, как сказано, отправляется от артикулированной ситуации непонимания. Описав обстоятельства непонимания (нашего, или нашего адресата в коммуникации), мы осуществляем рефлексивный сдвиг и спрашиваем о достаточных основаниях требуемой интерпретации, подразумевая «герменевтическую вилку». Герменевтическая вилка – схематический трезубец, направленный от фигурки «понимающего» к трём отдельным блокам: центральный блок – «текст» (или шире – «понимаемое»), под ним блок «опыт» (или «ситуация», или «знаемая действительность»), над ним – блок «основания» («логические» основания отнесения данного текста к данному опыту, «это – об этом», позволяющего сказать: «он понял»).

Схема 1



Если мы спрашиваем, про что этот текст, т.е. к какого рода опыту модельного читателя он должен быть отнесён, но при этом в блоке «Основания» закладываем вопрос «Что хотел этим сказать автор?», тогда мы уже интерпретируем автора, т.е. другой текст, опущенный из верхнего слоя схемы в средний слой. Фактически мы данные о жизни автора, например в виде его систематической биографии, делаем предметом нашего исследования, а заявленный ранее предмет (в нашем случае текст «Баллады») должен соответствовать тексту-образу-автора. А если мы при этом ещё в блок «Опыт» загрузим наше знание о прочитанной нами истории советских диссидентов в эмиграции, мы можем невольно наш вопрос «О чём текст?» исказить вопросом «О чём должен быть этот текст согласно нашему опыту усвоенной социальной критики?». Нетрудно заметить, что именно так читался Галич сорок лет назад и продолжает в основном читаться сегодня.

Собственно, этого было бы достаточно, если бы Галич был просто диссидентом, борцом с режимом, но не был при этом значительным поэтом. Однако Галич именно значительный поэт, и рецепция его поэтического наследия равнозначна процессу обретения нового художественного опыта. Здесь не место углубляться в феноменологию опыта, позвольте просто сослаться на разработку этого вопроса в моей работе о «событии Высоцкого» [Литвинов 2011].

Событие в художественном мире происходит на читателе, но оно инициировано автором и реализовано его творчеством, составом его читаемых нами произведений. Соответственно могут быть различены предметы интерпретации: интерпретацию произведения не следует смешивать с интерпретацией его создателя, с одной стороны, и интерпретацией читательского восприятия, с другой. Говоря об «интенциях» в герменевтических анализах, мы различаем интенцию автора, интенцию текста произведения и интенцию читателя, как предложено в [Литвинов 2007с: 32-33]. Первая может быть предметом психологии творчества, третья – предметом социологии рецепции, вторая же, даже будучи очищенной от психологических и социологических импликаций, оказывается полем конкуренции прагматингвистики текста, поэтики, семиотики, герменевтики, между которыми достаточно трудно провести разделительные линии.

Фактически мы в этом месте обсуждаем блок «Основания» на нашей схеме, введённой выше. Этот блок «вилки» не должен содержать онтологических допущений, тем более – научных убеждений аналитика. Он может содержать состав необходимых различений и подразумевать логику работы с этими различениями. Умберто Эко,



причисляющий себя не к герменевтам, а к семиотикам, проводит такие различия, фактически предвосхищая нашу герменевтическую логику. В своих работах начала 1990-х годов он настаивает, что следует признать автономные права автора текста, права читателя и – отдельно! – права текста [Есо 1994: 6-7]. Обсуждая интенции, он, сообразно означенным «правам», различает, в точности как в моей цитированной работе, *intentio auctoris*, *intentio operis* и *intentio lectoris* [Есо *op.cit.*: 50]. К этому он добавляет: «Если поперёк трихотомии интенций положить оппозицию порождение / истолкование, можно получить шесть потенциально возможных теорий и критических методов» [там же: 51].

С этим аппаратом мы можем проинтерпретировать типологически мышление С.В. Свиридова: он обсуждает интенцию автора (Галич) на основе текста («Баллада о вечном огне») и не ставит вопроса об интенции текста и о методе истолкования. Между тем решение вопроса о «теме **Р** в произведении **А**» предполагает выявление автономно трактуемой интенции текста произведения, и именно в отображении на «модельного читателя», который может, если надо, «реконструировать» автора. Это делается в аспекте «чтения как письма» (Р.Барт): в линейном продвижении по тексту модельный читатель (роль которого пытается брать на себя герменевт) отвечает на вопросы о резонах именно такого разворачивания языковой конструкции текста. Ролан Барт, причислявший себя к структурной семиологии и соглашавшийся считаться лингвистом, вместо «автор» говорит (в русском переводе) «скриптор» и утверждает, что скриптор «порождается одновременно с текстом, у него нет никакого бытия до и вне текста» [Барт 1994: 387]. Читатель же, по Барту, «это то пространство, где запечатлеваются все до единой цитаты, из которых слагается письмо: текст обретает единство не в происхождении своём, а в предназначении, только предназначение – это не личный адрес; читатель – это человек без истории, без биографии, без психологии...» [там же: 390]. Вот именно: читатель не актуальный, а модельный (У.Эко), или имплицированный (В.Изер).

Таким образом, у Барта мыслится нечто вроде функциональной системы «произведение в социокультуре», и в этой системе «писатель» и «читатель» – функциональные места. Но, как справедливо замечает сам Барт, его семиология «не есть герменевтика: она не столько раскапывает смыслы, сколько зарисовывает реальность» [там же: 564-565]. Я в этом месте перевёл бы на русский язык его *réalité* не словом «реальность», а словом «действительность», ибо имеется в виду концептуальное оформление реальности; но это, конечно, частность.

Мы же, в отличие от Барта, поставим вопрос не о тексте/произ-

ведении **в принципе**, а об **актуальном** тексте, который должен **пониматься**. Оставим семиологу Барту его структуралистскую правоту и обратимся к нашему проблематичному материалу, пытаясь «раскапывать смыслы».

Первые два четверостишия выполнены в правильном четырёх-стопном анапесте с добавленным безударным слогом (о - оо - оо - оо - оо). Этот величественный размер идеально соответствует теме поклонения павшим героям. Но его лексическое наполнение контрастирует с пафосом темы и размера:

*... «Неизвестный», увенчанный славою бранной!  
Удалец-молодец или горе-провидец?!  
И склоняют колени под гром барабанный  
Перед этой загадкою главы правительств!  
Над немymi могилами – воплем! – надгробья,  
Но порою надгробья – не суть, а подобья,  
Но порой вы не боль, а тщеславье храните –  
Золочёные буквы на чёрном граните.*

Далее следует стих *Всё ли про то спето?* И разворачивается панорама псевдосюжетов. Ближе к концу она прерывается прозаическим *А ещё...*, начинающим другое восьмистишие в том же тематическом анапесте:

*А ещё: Где бродили по зоне КазРы,  
Где под снегом искали гнилые корни,  
Перед этой землёй – никакие премьеры,  
Подтянувши штаны, не преклонят колени!  
Над сибирской тайгой, над Камой, над Обью,  
Ни венков, ни знамён не положат к надгробью!  
Лишь как вечный огонь, как нетленная слава –  
Штабеля! Штабеля! Штабеля лесосплава!*

За этим следует, как переключка с *Всё ли про то спето?*, в том же размере *Позже, друзья, позже...*

Как «читатели, пишущие текст», мы помним о сути памятника неизвестному солдату, готовы воспринимать его как нашу боль, но дистанцируемся от пафосной интенции властей, приватизирующих славу бранную: сказав *порой*, мы имеем в виду тех, кто *суть* и *боль* подменяют своим *тщеславьем*. Как «читатели, пишущие текст», мы предъявляем им счёт, напоминая о *КазРах* (то есть, осуждённых с определением «контрреволюционер») и вызывая сравнивая *штабеля лесосплава* с *вечным огнём* и *нетленной славой*. И мы выдумываем сюжет, в котором какой-то бедолага, расстрелянный в Польше патрулем, оказыва-

ется волей судьбы тем самым, прах которого будет захоронен вблизи Красной площади. Вот этот пассаж:

*Ты не кручинься, мама рóдная,  
Как говорят, судьба слепá,  
И может статься, что народная  
Не зарастёт ко мне тропа...*

Впрочем, мы стараемся, как «пишущие» понимаемый текст, не замыкаться на образе Красной площади. Не будем подразумевать именно советское *тщеславье*, а потому используем во втором четверостишии этого пассажа «Баллады» грамматическое множественное число: *могилами, надгробья, подобья*, и слово *порой* у нас подразумевает Москву, Париж и все прочие города, установившие памятник неизвестному солдату.

Здесь мы начинаем лучше понимать «себя»: мы «пишем» не о воинской славе, а о жертвах войны и насилия, о **крови**; этого слова в тексте нет, но есть вот что:

*Но зовёт труба в рукопашный,  
И приказывает – воюйте!  
Пой же, пой нам о **самой страшной,**  
**Самой твёрдой в мире валюте.***

Между прочим, в первом наброске это произведение Галича (оно начиналось стихом *Понаставили мёртвым памятники...*) называлось «Баллада о твёрдой валюте». Здесь обнаруживается ключ к основному смысловому мотиву произведения. «Баллада» - не только не героическая, но и не пародийная, и не социально-критическая. Поэт Галич, как известно, был и сатириком, и социальным критиком, и вполне можно допустить, что он сам понимал этот поэтический акт как часть своей критической программы. Но мы здесь выявляем не интенцию поэта, а интенцию поэтического текста. А текст в данном случае предъявляет не протест, а **горечь**. Именно горькие интонации (между прочим, и в остальном характерные для Галича) создают смысловую цельность «Баллады». Текст Галича **как бы намеренно** делает ненужными вопросы о правильном понимании сюжетных конструкций и их идейного содержания.

«Неизвестный солдат» по определению – человек без свойств. Интересоваться, каким он был на самом деле, не положено; хотя туда перенесён реальный прах погибшего на войне, но по своей сути он есть символ, а не покойник. Текст Галича затрагивает этот мотив:

*Удалец-молодец или горе-провидец?*

то есть, он может быть безрассудно храбрый романтик войны или

неуместно рефлектирующий на войне интеллигент). Эта строка может читаться как открытое перечисление: или, или, или... Весьма необычный поэтический приём: спросить о том, о чём **не надо** спрашивать, чтобы тут же сказать «загадка» и далее **не** спрашивать, но при этом **помнить**, что возможны варианты. Помня о фактах героизма (евреев в варшавском гетто, русских солдат в Польше, польских солдат в Италии), не делать эти факты более важными, чем факты жертв массового насилия (в Освенциме или в Потье, на Колыме и т.д.). Мы за всё платим кровью, и труба, эта *горькая медь*, равно готова *петь* и траурный марш, и призыв к бою, и местом трагедии может быть Россия или Польша – и опять можно продолжать: или, или, или... И песни нашей жизни могут быть героическими или протестными («Красные маки»), или весело-плясовыми («Тум-балалайка»), а у людей нашего (1970 г.) времени они ассоциируются с кровью. По крайней мере у тех людей, для которых Memento mori не пустой звук, но очевидно именно они предусмотрены текстом Галича как его модельный читатель. Но слово *кровь* не только не является ключевым «репрезентантом концепта», но вообще отсутствует в этом тексте. По наблюдению специалиста, впрочем, «поэтический концепт» может реализоваться лексическими средствами, не относящимися к частотным или ключевым словам текста [Воробей 2013: 65].

Какую же роль играет в этом произведении польская тема? Почему появляется и исчезает поляк, как лирическое Я? С.В. Свиридов, думая о гражданской, протестной позиции Галича, связывает польскую тему с тем фактом, что в 1968 году, то есть в это самое время, были введены в Прагу войска стран Варшавского договора для подавления «Пражской весны». Получается, что «Баллада о вечном огне» – это реакция на актуальное событие, тем более, что из биографии Галича известно, что он был чувствительно задет чехословацкими событиями. А Польша, она же рядом с Чехословакией. Как интерпретация автора «Баллады», трактовка Свиридова не совсем убедительна; как интерпретация текста – совсем не убедительна. Я склонен думать, хотя это всего лишь моё мнение, что с точки зрения интенции текста, независимо от переживаний Галича как гражданина, именно Польша – подходящий геополитический предмет для этого содержания. Польша – страна драматической кровопролитной судьбы и страна особенно болезненного патриотизма, который понятен именно в свете её судьбы. В Польше было много евреев и много антисемитов, много русофилов и русофобов, коммунистов и антикоммунистов; в XX веке Польша – страна Холокоста и Варшавских восстаний и – внутри анти-

фашистского движения в Польше приходилось решать, какой ты антифашист, просоветский или пробританский. Если программный смысл «Баллады» Галича заключается в **отрицании** неглавных вопросов, в отказе от сюжетных деталей и идейных партийностей, тогда польская тема для этого замысла органична.

Итак, мы уже заметили, что не вникаем в *загадку «неизвестного»*. Может быть, он был вот такой весёлый балагур, как тот, расстрелянный в Познани (заметим его выражения *мама рóдная* и *товарищ Сталин, прощевай*, и его насмешливое цитирование «Памятника» Пушкина: *не зарастёт народная тропа*); это может быть третий вариант из многих возможных наряду с *удальцом-молодцом* или *горе-провидцем*.

*Всё ли про то спето?* – это как будто требует рассказа «про то», но следует не рассказ (ибо существенно не это!), а исторические ассоциации, намёки на возможные сюжеты, которые не надо излагать:

*Всё ли про то спето?  
Всё ли навек – с болью?  
Слышишь, труба в гетто  
Мёртвых зовёт к бою!  
Пой же, труба, пой же,  
Пой о моей Польше,  
Пой о моей маме –  
Там, в выгребной яме!..*

А далее – при чём тут ярмарка, и почему вдруг Италия?

*А купцы приезжают в Познань,  
Покупают меха и мыло...  
Подождите, пока не поздно,  
Не забудьте, как это было!  
Как нас чёрным огнём косило  
В той последней слепой атаке...  
«Маки, маки на Монте-Кассино»,  
Как мы падали в эти маки.  
А на ярмарке всё красиво,  
И шуршат то рубли, то марки...  
«Маки, маки на Монте-Кассино»,  
Ах, как вы почернели, маки!*

Познань – то место, где расстрелян (может быть тот самый) неизвестный русский солдат. Теперь, в 1958 – 1968 годах, годах фильма «Пепел и алмаз» и «Баллады о вечном огне», в Познани, городе известной ежегодной торгово-промышленной ярмарки, всё нормально, мирная

жизнь с активной коммерцией. И об этом сказано, что красные маки Монте-Кассино *почернели* – утерян смысл событий 44-го года, когда платили *самой страшной валютой*. Нужны ли детали? Существенно не «это», существенна память о борьбе с фашизмом и о «пляске смерти» в Освенциме. Без лишней детализации.

И далее – о том, кто в *мазурочке отправился за «языком»*. Со свойственным ему сарказмом этот лазутчик говорит о том, что он обучен *стрелять и убивать*. Почему он не говорит, что обучен *воевать*? Потому что он – даваемый намёком **персонаж** в стихотворении Галича – здесь пафос подавляется жёстким реализмом:

*Там, у речной излучины  
Зелёная кровать,  
Где спит солдат обученный,  
Обстрелянный, обученный  
Стрелять и убивать!  
Среди пути прохожего –  
Последний мой постой,  
Лишь нету, как положено,  
Дощечки со звездой.*

Уже сказано выше, что в стык с этим псевдосюжетом следует пассаж о «КаэРах» на лесоповале, а после него заключение. Его надо процитировать полностью:

*Позже, друзья, позже  
Кончим навек с болью,  
Пой же, труба, пой же!  
Пой и зови к бою!  
Медною всей плотью  
Пой про мою Потьму!  
Пой о моём брате –  
Там, в Ледяной Пади!..  
Ах, как зовёт эта горькая медь  
Встать, чтобы драться, встать, чтобы сметь!  
Тум-балалайка, тум-балалайка,  
Песня, с которой шли мы на смерть!  
Тум-бала, тум-бала, тум-балалайка,  
Тум-бала, тум-бала, тум-балалайка,  
Тум-балалайка, шпил балалайка,  
Рвётся и плачет сердце моё!*

Неизменно горькая поэзия Галича, и здесь, и в его творчестве в целом, однако, не производит впечатление болезненной. Отказываясь

от детализации сюжетного и идейного содержания, он как бы приемлет судьбу – но именно **как бы**, потому что в размытых образах судьбы постоянно прорезается **призыв к борьбе**. Против чего, против кого? Галич так перетасовал исторический материал в «Балладе», что приходится отвечать: **повсеместно**, против тех и того, кто приносит нас в жертву. Мы готовы заплатить кровью за освобождение от того, кто заставляет нас платить кровью.

### 3. Герменевтика читательской рецепции

Как читать это стихотворение Галича? Наш анализ в достаточной мере показывает, как его **не надо** читать: не надо читать его как выраженное стихами повествование, как последовательное изложение сюжета. Однако стихотворение названо «балладой». Выше сказано, что это ирония, но не прояснён вопрос, зачем в этом случае нужна ирония. Возможно ли, что обозначение этого текста как баллады может быть подсказкой, как это **надо** читать?

Но вопрос о понимающем чтении нетривиален.

В своё время Г.И. Богин предложил определение трёх типов понимания текста, над которым и в нашем случае нелишне поразмыслить. См. его «Типологию понимания текста» 1968 года. Читатель, которому достаточно знать значение всех слов в тексте, осуществляет «семантизирующее» понимание, «декодирование единиц текста, выступающих в знаковой функции» [Богин 1986: 15]. В «Балладе», в частности, требуется знать, что значит *мазурочка* (*мазурик* и т.д.), что значит *нафабрены* (усы), *кирзовые* (это сапоги у рядового состава в Красной армии), *гетто* (район города для изоляции еврейского населения), *анилин* (растворитель для красок). Кто такие *КазРы*, объясняет по ходу сам Галич в сноске. А то, что *Апельплац* (нем. *Appellplatz*) – это площадка для переключки заключённых в концлагере, это многие ли читатели знают? Но эта трудность преодолима, как во всех случаях, где надо просто что-то узнать. Читатель, который всё узнал и «понял» весь текст в режиме декодирования словесных знаков, такой текст всё-таки не понимает.

Стоит задача «освоения содержательности» текста, который при первом типе прочтения вызывающе бессодержателен. Требуется, как говорит Богин [там же], «когнитивное понимание». Под тем же самым составом слов должны быть выявлены не значения, а смыслы. Происходит «замена знаковой ситуации объективно-реальной» [там же: 45-46]. Уже нужно не знание слов, а знание реалий жизни и истории, в которую погружена предъявляемая ситуация. Думающий читатель, осуществивший когнитивное понимание, может сказать о себе: «Я всё

понял». Во многих случаях, может быть в большинстве, этого бывает достаточно. В нашем случае думающий читатель, однако, скажет: «Не понимаю. По частям всё более или менее ясно, но в целом это – лоскутное одеяло».

Собственно, здесь затребована герменевтика, как специальная техника (или набор специальных техник) для анализа притязательных текстов, требующих работы ума поверх знания языка и жизни вместе с историей. Этот тип понимания Богин называет «распредмечивающим». Понятие заимствуется из технического языка московской методологии Г.П. Щедровицкого; оно подразумевает выявление конструктивных оснований в основе знаков и объективированных смыслов. (На нашей схеме «герменевтической вилки» блок «основания» имеет тот же теоретический смысл.) Но, подчёркивает Богин, «распредмечиваться» должны не стандартные смыслы, закреплённые за знакомыми или известными предметами, а те, которые «опредмечены» по-новому (и тем самым, между прочим, авторизованы). Притязательные художественные тексты имеют этот характер. Далее он уточняет: «Понимание имеет распредмечивающий характер в том смысле, что реципиенту даны непосредственно не смыслы (идеальное), а их превращённая предметная форма (средства построения текста)» [там же: 59].

В этой связи особое значение придаётся композиции. «Этот фактор – характеризованность набора смыслов, присутствующих в пределах одного композиционного деления, некоторой общностью. Эта общность, 'командующая' частными вводимыми и развиваемыми смыслами, образует **мета-смыслы**» (выделение Г.И. Богина [там же: 75]).

В другой важной работе Богин говорит также о «мета-единицах» и «мета-связях» при «растягивании смысла» [Богин 1991: 29]. И заслуживают внимания его мысли о «схемах процедур непонимания» [там же: 24], – не над этим ли трудились и мы в предшествующем разделе статьи?

Слово «баллада» у Галича содержится в заголовке, а заголовок – не часть текста, как излагаемого предметного содержания, а **отдельный сигнал** от автора к читателю, как он, читатель, должен брать этот текст. **Читай как** балладу то, что по собственной композиции балладой не является. Смысл, осуществляющийся на полюсе читателя, имеет, по теории Богина, трёхслойную архитектуру: значения элементов, образующих вербальную конструкцию текста; далее смыслы отдельных частей, сборка которых происходит в когнитивном понимании содержания; и, наконец, при недостаточности такового, при остающейся «лоскутности» образов мира, мета-смыслы, работа синтезирующего



сознания читателя, конституирующего ту общность, которая даёт понимаемому тексту окончательную связность. Балладность текста, ожидаемая, но не проявленная в когнитивном понимании, в образах картины мира, может проявиться **на уровне мета-смысла**, где «повествуется» не о событийной судьбе персонажа, а о **судьбе кристаллизованного смысла**. В нашем случае кристаллизуется мета-смысл «кровь / смерть как наша общая доля». И его словесный репрезентант в форме польского слова «кровь» (*krew*) может, по горькой иронии, прятаться в глубине упоминаемого, но не цитируемого текста о маках на Монте-Кассино. Излишне говорить, что этот приём красив, поскольку он содержательно второстепенен.

Понятие кристаллизации смыслов («концептов») вводится и продуктивно применяется в работах И.П. Черкасовой с конца 1990-х годов, см. в первую очередь [Черкасова 2005: 61-137] и [Черкасова 2014]. Близкая ей по духу И.А. Воробей [2007: 31-32, 66, 108-109] соединяет идею кристаллизации с идеей рассеивания смысла («растягивания» по Богину) и прослеживает двойной процесс кристаллизации / рассеивания на основе конкорданса употреблений «бога» и «ангела» у Рильке. Поразмыслим над следующим характерным наблюдением в её работе:

«На основе дистрибуции слова 'Gott' в 'Часослове' [цикл «православных» стихотворений Рильке, нем. «Das Stunden-Buch». В.Л.] можно сделать вывод, что смысл этого слова не кристаллизуется, а рассеивается, то есть мы не можем дать однозначный ответ на вопрос, что представляет собой бог в 'Часослове'. Нами были выделены группы словосочетаний, имеющие одинаковый смысл или одинаковое главное слово, затем они были объединены в небольшие предикатные гнёзда, которые в свою очередь подвергались некоторым обобщениям. Таким образом, рассеивание является основой для локальной кристаллизации концепта 'бог' в поэзии Рильке» [Воробей 2007: 66].

Едва ли приходится сомневаться, что «локальная кристаллизация на основе рассеивания» будет обнаруживаться при интерпретации через конкорданс множества других притязательных текстов. Заключение И.А. Воробей в рамках её «лингвистического» подхода без претензии на «общую герменевтику», и в этом месте, и в работе вообще, достаточно обоснованы. Но заметим, как автор завершает свою монографию: «Лингвистический анализ поэзии не исчерпывает поэзию. В этом смысле наши выводы по работе претендуют на строгость только в лингвистическом аспекте: в анализе текстовой материи поэтического текста, а не в анализе текста как произведения» [там же: 111], ибо, как сказано ею чуть выше, «и 'смыслу', и 'концепту' в лингвистике тесно».

Достаточно выйти за пределы лингвистики в позицию герменев-

тики читательского восприятия, т.е. в богинскую парадигму, и парадокс противоречивого единства кристаллизации и рассеивания снимается простой констатацией: кристаллизация на уровне мета-смысла осуществляется именно потому, что её требует факт очевидного рассеивания на уровне когнитивного понимания. Во всяком случае это именно так в нашем анализе «Баллады» Галича. Сосредоточившись на герменевтике читательского восприятия, мы вновь движемся по тексту Галича и замечаем интересные моменты, ускользнувшие ранее от нашего внимания. Когда мы при **n**-ном прочтении осуществляем распредмечивающее понимание, уже имея догадку о мета-смысле, мы, «пишущие» по понимаемому тексту, знаем, что это должна быть баллада о «вечном огне», а не, например, о «неизвестном солдате». Хотя здесь «солдат» – **проблема**, но заявленная **тема** всё же – «вечный огонь», известный предмет нашей гордости и нашего тщеславия. Именно *вечный огонь* в названии – языковая форма-метафора, воплощающая мета-смысл «кровь – смерть – жертва», который задаёт стихотворению его «балладную» цельность. Но первое слово после начального отточия у Галича – цитируемый (в кавычках) «неизвестный». Этим задаётся параллельная балладность, представленная, однако, не как повествование, а как вопрос о **возможном** повествовании. Здесь осуществляется поэтический приём, которому в герменевтике поэзии не уделялось внимания, какого он заслуживает – приём «вставленного Я». Он схематизирован в моей «Работе логоса» [Литвинов 2007а: 171] и применён в конструктивном анализе поэтического мышления в эссе [Литвинов 2007b: 190-192 и 249-250].

Акцентируя для себя выражение *или горе-провидец*, мы на уровне мета-смысла связываем его с пассажем:

*И может статься, что народная  
Не зарастёт ко мне тропа.*

Ироничный герой этого псевдосюжета, «Я» которого мы затянули в своё (повествователя) «Я», *провидит* возможность своей судьбы после смерти, в качестве может быть того самого *неизвестного* солдата. Теперь мы поняли, что слово *провидец* появляется в тексте стихотворения не ради эффектной рифмы (*провидец – правительств*), а со-означает самую суть дела. То есть, **персонаж баллады знает, что он – персонаж** вымышленного сюжета, и знает о себе, что в этом качестве «он» может прочитываться по-разному. Персонаж проявляет это свойство, потому что на него надето «Я» рассказчика сюжета, который **знает** (а может быть, **знает, что он не знает!**).

Вспомним, что в стихах о войне рассказчик баллады у многих ав-

торов предоставляет слово погибшему солдату. Вот известные примеры:

*Мы похоронены где-то под Нарвой* (А.Галич. Ошибка)  
*Я убит подо Ржевом* (А.Твардовский. Я убит подо Ржевом...)  
*Давайте выпьем, мёртвые,*  
*За здравие живых* (Б.Слуцкий. Голос друга)

Но особенность «Баллады о вечном огне» в том, что «рассказчик» не повествует от имени павшего (павших), а иронизирует над судьбой своего праха, его трансфигурацией в памятник боли или в предмет патристического *тщеславия*. И в этой «балладе» есть ещё другие «вставленные Я», и не только павшие солдаты, но и умершие в концлагерях заклинают *поющую трубу*: какой-то поляк из гетто:

*Пой о моей маме –*  
*Там, в выгребной яме,*  
и какой-то русский (возможно, тождественный автору):  
*Пой о моём брате –*  
*Там, в Ледяной пади.*

Авторское «Я» включает в себя «Я» персонажа, а между тем и другим может быть включено «Я» рассказчика, потому что он отнюдь не обязательно тождествен автору. Поскольку же поэзия – доверительный жанр литературы, то читатель примеряет на себя голос автора, которого он реконструирует, воздвигая над этой конструкцией «Я» следующего уровня.

Текст, реально говорящий только то, что он говорит, **наводит** читателя на возможное содержание поверх сказанного, и для строгого герменевтического анализа важно не утверждать одно из возможных прочтений, а выявлять **диапазон** возможностей восполнения содержания. Однако утверждение, что текст содержателен, требует предъявления хотя бы одного связного прочтения без претензии на то, что оно единственно верно. Представим себе мыслящего читателя «Баллады» вроде С.В. Свиридова, который знает, что в поэзии нет случайных выражений (как говорят, «ради рифмы»), и что, например, пассаж:

*Мы пьём, гуляем в Познани*  
*Три ночи и три дня...*

должен быть уточнён (именно в чтении, а не в письме, которое, напротив, задаёт содержательное зияние). И мы (вместе со Свиридовым) можем посчитать наиболее вероятным, что эти двое из разведки, отправившись за «языком», дезертировали и, разжившись часами и чем-то ещё, загуляли, но попали в руки патрулю, когда пришли свои. Текст «Баллады» это не говорит, но читатель выступает со своим пра-

вом (вспомним Эко!) и по праву вчитывает в текст то, что не сказано, для обретения содержательной связности. При этом он не обязан быть солидарен ни с реконструируемым автором, ни с биографическим А. Галичем; достаточно того, что он понимает себя как отличного от автора и от других читателей, которые с автором могут быть в разной мере солидарны. И, между прочим, герменевтика поэзии не будет полна, если интенции автора и, особенно, читателя не принимаются к рассмотрению в их искомой связи с интенцией текста.

Текст в своей вербальной материатуре пребывает неизменным, тогда как читатель – теперь уже реальный читатель, как у Богина, а не имплицированный в тексте, как у Изера – **историчен**. Реальный читатель, современный Галичу, не тождествен российскому читателю 2010х гг. Герменевтика читательской рецепции не может обойти вниманием вопрос, что может значить для сегодняшнего российского читателя идеологически излишний вопрос о солдате под надгробием у Вечного огня, и тем более мысль, что он мог бы быть отнюдь не героем, должна казаться крамольной. Патриот не должен о нём спрашивать, и хорошо, что ответ на этот вопрос всё равно не может быть найден. Но разве мы совсем не способны проливать слёзы над судьбой погибшего солдата под могильной плитой независимо от того, *как это было?* Значит, пусть останется *неизвестным*, но пусть он будет нашей *болью*, а не *тщеславьем*, которое мы разделяем с *преьерами*.

А в этой связи уместно спросить, как современный читатель «реконструирует» автора этой баллады. Какой-то простодушный объект навязчивого патриотического воспитания может сказать на основе данных в этом моём тексте, что Галич – не патриот, что он вообще циник и не чтит святыни. Но достаточно взять этот текст в его естественных интертекстуальных связях в совокупном творчестве Галича, чтобы увидеть в нём патриота – естественного, а не сформированного идеологией, которую он столь решительно преодолел. Галич труден для понимания и, может быть, сегодня даже более труден, чем в 1970 году. Значит, нужна адекватная герменевтика, и не только герменевтика проблематичных текстов, но и герменевтика проживаемой нами действительности. Александр Галич нам поможет, если мы не разучимся читать стихи.

### **Цитированные источники**

1. Аронов, Михаил. Александр Галич: полная биография. 2-е изд. М.: Изд-во НЛО, 2012.
2. Барт, Ролан. Избранные работы. Семиотика. Поэтика. М.: Прогресс-Универс, 1994.

3. Богин Г.И. Типология понимания текста. Калинин: Изд-во Калининского ГУ, 1986.
4. Богин Г.И. Рефлексия и понимание в коммуникативной подсистеме «Человек – Художественный текст» // Текст в коммуникации. М.: Институт языкознания АН СССР, 1991. С. 22-40.
5. Воробей И.А. «Бог» и «Ангел» в поэзии Р.М. Рильке (Конкорданс и интерпретация) – Пятигорск: Изд-во ПГЛУ, 2007
6. Воробей И.А. «Закон тяготения» в цикле `Часослов` Р.М. Рильке» // Филологические науки. Вопросы теории и практики (Тамбов: Грамота). № 11 (29): в 2 частях. Часть II. С. 65-70.
7. Литвинов В.П. Работа логоса. Публичные лекции в Пятигорской государственной фармацевтической академии. Пятигорск: ПГФА, 2007а.
8. Литвинов В.П. Герменевтика и поэзия. Опыт конструктивной мистификации // Герменевтика поэзии. Под ред. И.П. Черкасовой. Армавир: Редакционно-издательский совет АГПУ, 2007б. С. 162-253.
9. Литвинов В.П. Понятое мышление // Кентавр. Методологический и игротехнический альманах. Вып. 40. М., 2007с. С. 29-46.
10. Литвинов В.П. Событие Высоцкого. Феноменология нового опыта // В поисках Высоцкого. 2011. № 3. Пятигорск: ПГЛУ, 2011. С. 33-46.
11. Свиридов С.В. Польша в «Балладе о вечном огне» А. Галича // Вестник Балтийского государственного университета им. И. Канта. 2009. № 8. С. 95-98 / [http://www.psibook-com/literatura/polsha ballade...](http://www.psibook-com/literatura/polsha_ballade...)
12. Черкасова И.П. Лингвокультурный концепт «ангел» в пространстве художественного мышления: монография. Армавир: Редакционно-издательский центр АГПУ, 2005.
13. Черкасова И.П. Кристаллизация смысла как универсальная техника понимания в пространстве поэтического дискурса // Герменевтический круг: текст – смысл – интерпретация. Выпуск 3. Армавир-Пятигорск-Ставрополь: АГПА, 2014. С. 108-117.
14. Eco, Umberto. The Limits of Interpretation. Advances in Semiotics. Bloomington @ Indianapolis: Indiana University Press, 1994.

## **Заготовки к работе «СОЦИАЛЬНО ВОСТРЕБОВАННАЯ ЛОЖЬ КАК КОНТЕКСТ МЫШЛЕНИЯ»**

Я хочу сразу же уведомить читателя, что в конце этой публикации не будет предложено заключений, претендующих на окончательность в рамках моей «концепции». У меня нет концепции, есть проблема, которую я намереваюсь сформулировать и обсудить. В 2010 году я сделал две попытки обсуждения этого вопроса, т.е. ранее уже накопил некоторый опыт размышления над проблемой мышления в среде неадекватных понятий, которую я интерпретировал как контекст социально востребованной лжи. Мне не удалось преобразовать этот личный опыт в связный текст, который был бы не беднее моих тогдашних разработок. В итоге я принял решение предложить к публикации прежние тексты, добавив некоторые новые соображения. В конце концов, почти все мои научные публикации по жанру представляли собой предъявляемые научному сообществу попытки мыслить нечто, что казалось мне плохо промысленным до меня, и тем самым – попытки вовлечь читателя в сомышление по теме. По этой причине я привык выступать от первого лица, но это моё «я» - не знак учителя, а знак инициатора коммуникации. В моих прежних текстах я незначительно изменяю некоторые пассажи и формулировки, поскольку теперь я адресуюсь не к соучастникам проектирования и не к сокоммуникантам в проблемном семинаре, а к читателю научной литературы. И я рассчитываю не на читателя, готового может быть со мной согласиться, а на такого, который готов со мной задуматься. Здесь будут нелишними ещё два предуведомления.

### ***Предуведомления 2017 г.***

#### **ЛОКАЛИЗАЦИЯ ПРОБЛЕМЫ**

Вопрос о «контексте мышления» подразумевает, что «мышление» в нашем размышлении мыслится происходящим не в голове, а в социальном мире, в пространстве повсеместного диалога. В социальном мире мышление манифестируется как выраженная или выражаемая мысль, а это значит – как высказывание, претендующее быть новым словом и провоцирующее встречную реплику, претендующую его опровергать или заменять альтернативным новым словом. «Новое слово» - это в нашем случае, естественно, не новая лексема в лексическом амбаре языка, а новое «сказанное», лектон (др.греч. λέκτόν в языке стоиков), а его новизна, далее, должна получить аттестацию в куль-

туре в качестве таковой (т.е. по достаточному критерию – новизны). Вся эта совокупность обстоятельств, феноменологически уточняющих «мышление», охарактеризована в моей работе «Понятое мышление» [Литвинов 2007], которая в свою очередь была подготовлена моим участием в дискуссиях пятигорского семинара «Герменевтика-2»; те материалы опубликованы в Интернете [Литвинов 2006]. В настоящей работе эти сложные рассуждения не могут быть воспроизведены, так как невозможно их сокращённое изложение. Я прошу читателей просто принять к сведению, что у меня проблема локализована так, как сказано в этом предуведомлении.

#### ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЕ СЛОЖНОСТИ

Но нелишне ещё и второе предуведомление. В моём размышлении используется в этом случае когнитивный ресурс русского языка, где уже заранее лексически разведены *думать* и *мыслить* (в отличие от нем. *denken*, англ. *think*), а также *истина* и *правда* (в отличие от нем. *Wahrheit*, англ. *truth*). Не надо думать, что русский язык вообще мощнее, чем немецкий или английский; в конкретной ситуации речи/мысли достаточные различия реализует человек, а не язык, но язык бывает более или менее удобен для обсуждения той или иной проблемы. (Напомню, что когнитивный ресурс французского языка, как и других романских, позволяет не смешивать *langue* и *langage* по Соссюру (“Cours de linguistique générale”), тогда как в русском то и другое – *язык*, и освоение мысли Соссюра требует дополнительной работы над категориальным аппаратом; в переводе А.М. Сухотина 1933 года *langage* выступает как *речевая деятельность*, что, однако, в обратном переводе было бы, видимо, *activité langagière*.) Это значит, между прочим, что в нашем размышлении о «мышлении» и «лжи» требуется повышенное внимание к тонкостям иноязычных текстов, когда мы их включаем в работу.

Например, в известном тексте Бертольта Брехта 1935 года о трудностях, с которыми имеет дело тот, кто намерен писать правду (*Fünf Schwierigkeiten beim Schreiben der Wahrheit* [Brecht 1968]), вторая из трудностей заключается в том, что надо иметь достаточно ума, чтобы распознать *Wahrheit*, что в этом случае значит «истинное положение дел», а иной раз даже просто «истина», как в пьесе Брехта «Жизнь Галилея». Но в качестве первой трудности названо мужество (*Mut*), чтобы эту истину (истинное положение дел, правду о мире) высказать. В моём последующем размышлении требуется не смешивать истину и правду: истина познаётся, правда высказывается в ответственном социальном акте.

**Социально востребованная ложь как контекст мышления  
(Письмо членам Группы проектирования инноваций ПГЛУ, февраль 2010 г.)**

1. Эта проблема обнаруживает себя на **индивиде**, осуществляющем **языковой акт**, претендующий быть **мыслью**. (О мышлении как таковом см. мою публикацию в «Кентавре» (вып. 40), представляющую итог работы нашего семинара по герменевтике мышления.)

2. Подход, который я сегодня реализую, подсказан мне моими диалогами с психологом Д.В. Тырсиковым. Я должен **определить человека** не вообще, а **в качестве индивида**, и это вроде бы дело психологии. Но здесь наше с ним понимание разошлось.

3. Я мысленно зарисую денотат моей работающей мысли следующим образом: **онтологическое** представление человека как **мыслящего индивида** предполагает его двойное включение («левое» и «правое») в социокультуру. Мыслить значит **мыслить для окружения** (а не просто как-то думать). И это значит, как необходимое следствие, **считаться с дискурсами окружения** как обязывающими («слева») и принимать на себя **ответственность за соответствие своего нового слова** предусмотренному проектом социокультурному контексту («справа»).

4. Представим себе контекст, в котором принято считать, что **А**, хотя непосредственный опыт показывает систематически, что **не-А**. Честный человек, как ребёнок в сказке Андерсена, может сказать, что «король голый», хотя это для социализированного индивида психологически трудно. **Думать честно** в данном случае несложно, сложно **озвучить мысль** (но ведь именно здесь мы вправе говорить о «мышлении» как ответственном акте).

Но представим себе, далее, что в нашей проектной ситуации **А** некоторым образом **обосновано**, например, подключением нашего университета к Болонскому процессу. Там **проектно** обосновано (для подключения Албании и т.д. к европейскому уровню Высшей школы), что требуется стандартизация, в том числе в балльно-рейтинговой системе. Заметим, что мы **обоснованно** вводим её в России, где условия её функционирования не выполнены, и мы пока не собираемся их выполнять. Мы не отчисляем студентов за непосещение и за неуспеваемость, мы сами снимаем студентов с занятий по программам «воспитательной работы» и т.п. Для **дополнительного обоснования** мы наделяем её **псевдосмыслом** «менеджмент качества», оформляя учебную документацию так, что студент **как бы** учился без пропусков



и кругом успевал. Скажем ли мы «Не **А**», чтобы не лгать?

Методист ПГЛУ, осмысливающий балльно-рейтинговую систему, не отрицает её, а предлагает «инновации» по усовершенствованию («дальнейшему!»), потому что БРС не подлежит проблематизации. Наивный простак мог бы сказать «Я не стану это делать», но он не может подвести кафедру, деканат и студентов, а поэтому заносит ложные данные в систему компьютерного учёта, а в мышлении над инновацией **исходит из предзаданной лжи** как необходимого рубежа мышления. И я, честно говоря, не верю мыслящему человеку, который говорит, что БРС в ПГЛУ – это хорошо.

Примеры из мышления в политологии, социологии, педагогике можно не приводить, поскольку эти науки (в кавычках? – у нас в России!) прогибаются под власть, а политические деятели (законно представляющие власть) **не распространяют на себя запрет на ложь**. Это особенность их ремесла. Обоснование этому давал ещё в начале XX века Макс Вебер в докладе «Политика как профессия» [Weber 1919], потом это многократно повторялось и никогда, насколько я знаю, не оспаривалось. Дело в том, по Веберу, что в принятии политических решений этика ответственности (Verantwortungsethik) ставится выше, чем этика нравственности (Gesinnungsethik).

5. Интереснее, и сложнее, и важнее подумать над следующими тонкостями.

5а) Научные истины, обоснованные именно как истины (по критерию согласованности теоретического знания), противоречат элементарной правде о мире, как «математический кретинизм», определённый Г.П. Щедровицким [2007: 374] со ссылкой на Анри Лебега. Научные истины говорят правду об идеальных объектах, но лгут в применении к реальному миру, тем вернее, чем совершеннее соответствующая наука по критерию сциентизма. Мы, правда, легко понимаем, что реальные «тела» не падают «по Галилею», но мы почему-то считаем, что реальная речь или реальный текст строится «по грамматике». И пример А.Г. Авшарова о совершенной экономической теории, закрывающей глаза на реальный кризис, может быть, особенно показателен. И я не думаю, что в этом аспекте психология существенно отличается от других наук, именно потому и не верю, что это высокоразвитая наука. Например, я о себе точно знаю, что у меня нет никакого «подсознания» (хотя психолог соответствующего направления его у меня обнаружил бы, но на то он и учёный с «истиной», чтобы на правду закрывать глаза).

5б) Наука определяет контексты современного мышления, в том числе проектного мышления. Давайте вернёмся к моему схематизи-

рованному индивиду. Он сам, конечно, есть мой научный идеализированный объект и сам станет ложью, как только я скажу, что реальный человек вообще «вот такой». Я так не скажу, потому что осуществляю **не акт познания, а акт построения смысла в режиме конструктивной герменевтики**. И я продолжу разворачивание этого смысла, погружая его в контекст проектирования такой гуманитарной технологии, в которой учатся и учат мыслить. Мы задали себе рамку нового университета как генератора гуманитарных технологий.

5в) Итак, будем мыслить индивида в коммуникативном отношении с другим (это редукция к минимуму, за которым мыслится много коммуникаций, и, конечно, много индивидов). Я понимаю психолога таким образом, что, если мы предполагаем коммуникацию, которую реализуют люди (а кто же ещё?), так и надо брать полнокровных людей, а не абстракции от них. Я понимаю Д.В. Тырсикова в его правоте по отношению к проекту: проект должен мыслиться как реализуемый, а потому человек должен мыслиться как реальный, а не теоретический. Но проектируемый индивид, хотя и не теоретический, но он же и не реальный, реальна картинка, изображающая его. Можем пока что не углубляться в проблематику «реалистического идеализма проектного мышления»?

5г) Против моего оппонента-психолога я выдвигаю следующую мысль.

Хотя реализация проекта идёт параллельно с разработкой деталей проекта, но детали реализации всегда **следуют за** своим мыслительным коррелятом (иначе мы сделаем «не то»). А мыслительный коррелят любой реальной детали – **идеальное** нечто, в своей **собственной** реальности как **картинка на доске**. Поэтому при изготовлении мысли в проектировании мы обсуждаем **то, что нарисовано**, а не то, что мы знаем (или склонны думать) о реальных людях и реальных университетах. Тырсиков со своей правотой звучит в полную силу, когда решено это реализовать, а не до того.

Но я пока что пребываю в режиме чистого мышления, которое я вбрасываю в коммуникацию, т.е. в мыследеятельность группы проектировщиков. Я говорю: Гуманитарная технология (ГТ) есть устройство, в которое должны войти люди, иначе это не гуманитарное устройство – значит, оно должно быть пригодно для вхождения **человека**, и отнюдь не теоретического. Но я здесь же должен уточнить: человек в этом случае предусматривается не во всей своей конкретности (вот это действительно была бы негодная абстракция!), а как **включаемый в систему**. Требования, которым он соответствует, называются «ком-

петенцией». **Содержание компетенции определяется через форму ГТ, а не до неё.**

6. Если принята предложенная миссия университета как «интеллектуальная совесть социокультуры», то компетентный (функционально адекватный) человек в этом месте (а речь идёт только о **таких** местах) **не должен лгать**. Но он сам может не лгать, если в системах наук и идеологий способен **распознать их потенциал систематической лжи**, а для этого нужна ироническая **дистанция**. Надо бы, по аналогии с Брехтом, перечислить все трудности правды. В частности, её надо уметь распознать, – это первое (правда, у Брехта второе), но не последнее условие интеллектуальной честности.

7. Думаю, в этом месте не надо заклинать логическую проблему истины. Речь идёт о правде, которая определима при условии, что между нами известно, что и как называется в нашем диалоге. Систематическая ложь связана с так называемой «понятийной катастрофой», когда внесение баллов в компьютерную сеть называется «менеджментом качества», война называется «миротворческой акцией», бордель называется «центром досуга», компания «Газпром» – «национальным достоянием», а неполная индексация «повышением пенсий и зарплат бюджетников». Между прочим, определение истины по А. Тарскому действительно для фиксированных знаков в системе, а правда определяется по жизни непредвзятым вниманием к состояниям жизненного мира, оснащённым нашим ясным языком. Только не надо быть Шалтай-Болтаем («У меня слово значит то, что я хочу, чтобы оно значило», потому что «дело в том, кто хозяин»).

\* \* \*

### **Социально востребованная ложь как контекст мышления (доклад в проблемном семинаре «Герменевтика-2» в ПГЛУ, апрель 2010 г.)**

Предполагается, что тотальная ложь является для этого круга людей знакомым представлением. Если нет, подумайте над формулировками:

- БРС как менеджмент качества знаний;
  - военная акция как защита демократии;
  - инновация как целевой вектор,
- и другими подобными.

Что значит, что некто лжёт? Это значит, что он утверждает **А**, зная, что **не А**, потому что хочет, чтобы другие думали, что **А**. Обстоятельный анализ этого речеактового феномена даётся в известной книге

Харальда Вайнриха «Лингвистика лжи» [Weinrich 1966; 1974], переведённой и на русский язык.

Социально востребованная ложь – это когда лжёт не индивид, а социум, когда в обществе согласована, как общезначимая истина, ложь о «новом платье короля». Социально-политический материал здесь – лишь один из случаев. Важнее в данный момент, что церковь лжёт, наука лжёт, общественная мораль лжёт. И мы лжём, чтобы не подводить начальство.

При этом лжёт, конечно, всегда индивид, даже когда он представляет социум. Дело в том, что он никогда не изолирован от окружения и от обстоятельств. Вопрос о правде или лжи предполагает, что мы, хотя бы условно, знаем, что как называется. Когда онколог говорит больному раком «У Вас полипы», это, по медицинской правде, так не называется, но может называться так по соглашению между специалистами по поводу их общения с пациентами.

Исследователи этого аспекта в человеческом общении убедительно показали, что в обыденности ложь распространена повсеместно, и она функциональна в качестве стабилизатора отношений и социальных установок. Классической считается книга американца Пола Экмана, известная на русском языке под названием «Психология лжи». Через двадцать лет после неё поляк Томаш Витковский привлёк широкое внимание научной общественности своей книгой этого названия. Умудрённые опытом этих и других сходных исследований, не будем легкомысленно говорить, что хороший человек лгать не станет. Понятно, что социальные отношения серьёзно пострадают, если мы перестанем отвечать на вопрос, как наши дела, условным «Нормально» или даже «Отлично», или если на вопрос «Как тебе моё новое платье?» непременно возьмёмся отвечать честно. При этом, естественно, предосудительна и в обыденной жизни ложь с целью обмана. Мы не должны углубляться в эту проблематику. Нас будет занимать не социально оправданная ложь обыденного человека, а социально востребованная ложь по данному выше определению.

Утверждение может быть истинным или ложным при условии, что слово употреблено как знак предмета по обоснованному критерию.

**Вставка 2017 года:** Только при этом условии действительно определение истинности (*Wahrheit*) по Альфреду Тарскому: «**p**» истинно, если, и только если **p** [Tarski 1935: 268-272]. Важно уточнение Тарского: не надо домысливать «если в реальности (in fact) **p**» [Tarski 1944: 361]. То есть, утверждение «Идёт дождь» истинно только в том случае, если идёт дождь

по норме обозначения «этого» в данном языке. Можно, замечает Тарский, ставить перед собой заведомо невыполнимую задачу с помощью метасемантических ухищрений нормализовать естественный язык настолько, что формальное определение истинности будет к нему безостаточно применимо. Но сохранит ли, спрашивает Тарский, «рационализированный» таким образом естественный язык свойство «естественности»? Очевиден ответ, что нет.

Социально востребованная ложь – это негласное соглашение называть действительность не так, как она называется соответственно разумному обоснованию. Понятие истинности по Тарскому, и просто понятие истинного положения дел больше не имеет своего основания. Люди включаются в эту игру ради социального мира и постепенно привыкают к ней: к тому, что коммунизм – наше общее будущее, или что США – гарант прав человека во всём мире, или что Иисус Христос – сын Божий, или – пример из языковедения – что говорящий применяет языковые средства, и так далее.

Задача герменевтики в социально-смысловой интерпретации мира – реконструкция условий и границ истинности привычных фраз и возможных оснований для выбора альтернатив. Например:

«Человек произошёл от обезьяны» верно как теоретическое положение в эволюционной биологии, если «происходить от» используется в качестве термина для отношения между уровнями сложности в таксономической системе. – В остальном это ложь, т.е. если это утверждается как истина («научно доказанная» правда) в другом смысле.

«Человек сотворён Богом» истинно в рамках религиозной догматики; но, заметим, это же может быть принято в философии духа, если «Бог» понимается как синтезирующая метафора всего духовного и человек определяется признаком духовности и мыслительности. – Но уже неметафорическое утверждение этого рода есть ложь, т.е. если утверждается как истина, а не как смысл.

И так далее.

И всё это значит, между прочим, что тотальная ложь современного мира связана более с верой в науку, чем с доверием к другим источникам «надёжного знания». В Новое время, когда, по Ницше, «умер Бог», именно наука пришла на место бога, и теперь мы «надёжно знаем»: «Бога нет», «Энергия –  $mc^2$ », «Язык – система знаков», «Человек – homo sapiens», «вода –  $H_2O$ », и т.д. Особенность моей темы – в её практической безграничности. Но проблема заостряется на уровне принципа: психологические истины действительны в пространстве психологии,

лингвистические в пространстве лингвистики, экономические в пространстве экономики – а в остальном они могут быть ложью, и часто ею бывают. Напомню о «математическом кретинизме» по Лебегу и о замечании Авшарова, что согласно современным экономическим теориям кризиса не может быть (того самого, который реально есть).

Выводы из этого вполне традиционны:

– Не решайте социотехнические задачи методами психологии на том основании, что социотехника имеет дело с человеком.

– Не решайте социально-жизненные проблемы методами экономической науки на том основании, что нет социальной жизни без экономики.

И так далее.

Решение каждой проблемы требует, как говорит наш коллега О.В. Карасёв, специальной «оспособленности» и сознательного учёта сфер референции, границ предметной области. Заметим попутно, что разные рациональности в мире множественного логоса предполагают неодинаковое отношение к проблематике правды (и истины в её основе) и лжи. Наука не лжёт, пока её утверждения понимаются в категориальном смысле; она начинает лгать, как только её категории применяются как слова к реальному миру. Философия не может лгать, потому что не может говорить правду (не барское это дело). Методология не может лгать, потому что принципиально не отвечает на вопросы, что есть что на самом деле. Методика не может лгать, потому что она относится к прожективной форме разума, но она сплошь и рядом воспроизводит ложь, проистекающую из натурально интерпретированной науки (не случайно умница Хомский, выступая в Манагуа, советовал методистам перевода и иностранного языка «не слушать лингвистов», а доверять опыту своей профессии).

Языки науки распространяют в мире свои терминосистемы, системы знаков идеализированных объектов, которые у неспециалистов начинают использоваться как просто слова, но вместе с сопутствующими научными выражениями. Доверяя учёным, люди начинают думать, что у них есть подсознание и эдипов комплекс, что наёмный рабочий и работодатель вступают в справедливое отношение, что пространство вообще трёхмерно, а время вообще линейно, и что в русском языке нет глагольной формы *поклал*. И Академия педнаук укрепляет наши предрассудки, ратуя за построение школьных предметов на основе последних научных достижений.

Лингвисты, если бы интересовались не только практикой обучения языкам и их «теоретической грамматики», а приняли заказ на

разработку языковедения, терапевтического по отношению к языкам жизни и науки, могли бы сделать его гарантом непрерывных усилий по предотвращению социально востребованной лжи. Но лингвисты не станут это делать, жертвовать ради этого своей дисциплинарной непорочностью. То же у психологов, биологов и прочей научной братии. Каждая наука – как направленный луч мощного прожектора, высвечивающий ту часть мира, на которую он контрастно направлен, и учёные узкой специализации любой вопрос затачивают под луч этого прожектора, где им «светлее». А если вопрос поставлен в другом месте и там же должен и может решаться? Впрочем, я допускаю, что возможно смещать направление луча без ущерба для предметной области. Я это предлагал для психологии [Литвинов 2012: 56-57].

Важность науки, как фабрики, производящей знание, я оспаривать не буду; я же не «методолог». Но я вместе с методологами говорю, что сегодня быть последовательным представителем отдельной науки и не уметь практически дистанцироваться от неё – позиция безответственная. Мы будем умножать научное знание, которого накоплено выше всякой крыши. Человечеству это нужно? И научная информация (которую лишь немногие отличают от знания) в Интернете множится и радуется профана своей доступностью.

Надо не отменять науку и не заменять её на проектирование, или аналитику, или что-то ещё. Надо изменить учёного таким образом, чтобы он в современном мире мог быть гарантом не-лжи. Но работа с людьми ситуацию изменить не может. Люди не индивиды, я – это я и моё окружение, как говорил Хосе Ортега-и-Гассет (*Yo soy yo y mi entorno*) – можно ли это оспорить?

Университет нового поколения в нашей версии с миссией «интеллектуальной совести социально-культурного мира» [Литвинов 2010] мыслится именно как средство трансформации учёного и – через него – сотворение новой интеллигенции и мыслительного контроля над интеллектуальными процессами в мире.

Это возможно при выполнении некоторых условий, которые надо продумать. В частности:

(1) Университет должен защитить себя от повторения социально востребованной лжи, памятуя, что правда о мире тоже социально востребована.

(2) При этом университет не должен отрекаться от науки и должен коммуницировать с научным окружением.

(3) Приняв, что пошлая наука воспроизводит пошлую практику, которая сама вызывает к жизни пошлую науку и далее по кругу, отно-

шение к практике тоже должно предполагать понимающую (ироническую) дистанцию.

Эти условия выполнимы, если применить некоторые новые идеи научной социологии, прочитав их как конструктивно-технические. Чтобы не докучать вам ссылками на самого себя и много раз цитированного нами Щедровицкого, возьму для примера социологическую концепцию Никласа Лумана.

Общество состоит из «социальных систем»; в наших понимающих анализах мы их учитывали как «парадигмы», способные пожирать друг друга. Социальная система состоит из «коммуникаций»; добавим (в смысле Мишеля Фуко) – в материале специфических «дискурсов» (политический, экономический, психологический дискурс и т.д.), и каждая система за счёт специфичности своих коммуникаций редуцирует сложность мира, своей «среды», на границе своего дискурса. А индивидуальный человек («сознание» у Лумана) несёт на себе несколько дискурсов и выступает по отношению к системам возмущающим фактором. Социальная система «аутопоэтична», то есть создаёт и определяет сама себя, а внешняя среда (среды) для неё – источник ресурсов, которыми она поддерживает свою жизнь.

И если я намерен (не сам, конечно, а мой университет) изменить мир, я проектирую университет как самоопределяющуюся систему со своим особым дискурсом, состоящую из собственных специфических коммуникаций – коммуникаций на языке гуманитарных технологий. См. [Литвинов 2010].

В таком университете наука более полнокровна, чем в нынешнем, потому что все дисциплины дистанцированы, и поэтому их представители способны преодолевать свою ограниченность («распредмечиваться», как говорят отечественные методологи) в диалоге с другими. И при этом они, став конструктивными герменевтами (или методологами), будут и психологами, экономистами, и т.д., то есть не потеряют своего профессионализма, а разовьют его до ГТ- культуры.

И с этим не стыдно будет выходить на мировой уровень, при условии, что мы знаем, над чем «они там» думают и что «они там» пишут. Учите языки, коллеги, это будет лингвистический университет по полному понятию! [**Примечание 2017 года:** Тем временем наш ПГЛУ уже перестал называться «лингвистическим университетом» и по факту уже таким не является.] А мировая и отечественная наука – его питательная среда. И практика, какая есть – его питательная среда. Но университет, который имеется в виду как перспектива, генерирует новую науку и новую практику, такие, которые не лгут.



### **И ещё (добавление 2017 г.)**

Я уже сказал, что рассчитываю не на читателя, готового со мной согласиться, а на такого, который готов вместе со мной задуматься. Видимо, надо было с самого начала уведомить читателя, что я не выступаю с позиции этики. Я не собираюсь бороться против лжи; надо было дожить до эпохи всемирных информационных войн, чтобы понять, что ложь естественна. И не надо сетовать на каких-то политических деятелей, тем более на какие-то СМИ, что они лгут; они заняты своим делом, для которого ложь органична. А для обыденной жизни, как установили компетентные специалисты, ложь вообще бывает полезна в качестве гармонизатора межчеловеческих отношений. Между прочим, по аналогии с вопросом Брехта о трудностях правды можно ставить вопрос о трудностях лжи, и Витковский этот вопрос обсуждает [Witkowski 2006: 68-81]. Но эти трудности (протест морального сознания, необходимость мыслить ложь на фоне знания об истинном положении дел и проч.) интересны только психологу.

Главное слово в названии моей работы – «мышление». Дело, которым занят я сам – университетское дело, и в течение ряда лет это было проектирование нового университета. Именно в проектной работе я встречаюсь с трудностью, которую здесь пытаюсь преодолеть, сопрягая проблематику мышления с проблематикой социальной лжи. Я знаю, что притязательная коммуникация является рамочным условием содержательного мышления, т.е. такого мышления, которое способно порождать обновлённую практику. И это равным образом значимо и для моих попыток мыслить продуктивно в составе рабочей группы, и для предмета проектирования – университета, который должен культивировать продуктивное мышление, «изменяющее мир» (по формулировке ректора ПГЛУ А.П. Горбунова в 2010-х гг.). Но я знаю также, что выражаемая мысль должна артикулироваться на языке моего социального окружения, чтобы быть понимаемой, а язык (дискурс) университетской среды не избежал понятийной катастрофы.

Возможно, впрочем, что разговоры о «понятийной катастрофе», в частности, в российской интеллектуальной среде, излишне драматизированы. Мы верим в устаревающие идеологемы, пока не начали мыслить, а когда начали, вся совокупность идеологем перестаёт быть нашим духовным диктатором и становится просто языковой средой, контекстом нашей мыследеятельности. В этом контексте денотаты нашей проговариваемой мысли, особенно если они наглядно явлены картинкой на доске, вызывают отторжение, но мы же хотим быть по-

няты с нашей новой картиной мира; в нашем мышлении наша новая картина отвечает на сегодняшние вызовы, как мы их понимаем. Значит, мы должны переходить к обсуждению социокультурной ситуации и вместе с нашими оппонентами определять сегодняшние вызовы, и так далее. Обе стороны в этом взаимодействии считают, что они знают истину и говорят правду.

По крайней мере один современный социолог, Юрген Хабермас, обсуждал проблематику правды (*Wahrheit*, т.е., может быть, и «истины» тоже) в социальной коммуникации [Habermas 1973]. Он констатирует, что смысл «факта» или «истинного положения дел» не может быть определён отдельно от дискурсов, в которых могут проверяться «значимостные притязания» (*Geltungsansprüche*) наших утверждений. «Правду» он для начала определяет как значимостное притязание, которое мы связываем с констативными речевыми актами. Вопросы же о правде возникают, если значимостные притязания ставятся под сомнение. Дело в том, что один и тот же (вроде бы) опыт оказывается разным опытом, если кодируется в разных дискурсах. Что именно «имеет место», решает не чувственный опыт, а ход аргументации. Хабермас предлагает «консенсусную теорию» правды/истины. «*Wahrheit* подразумевает обещание достичь разумного консенсуса» [Habermas 1973: 219]. Но в проектном деле фоновый (т.е. до этого бывший «разумным») консенсус проблематизируется с указанием на новые вызовы. Последующий анализ ситуации опять ставит нас перед задачей достижения разумного консенсуса, теперь уже по поводу вызовов времени.

В наших речемыслительных актах мы вынужденно используем дискурс нашего окружения. Шалтай-Болтай (Humpty-Dumpty Льюиса Кэрролла из «Алисы в Зазеркалье») пытается «говорить новое слово», но это не мысль и не коммуникация. Нужны не новые значения слов, а новые лектоны (лектá). Язык диалога должен быть общим для коммуникантов языком, а этот язык (дискурс) – всегда для начала язык устаревающих идеологий и, таким образом, наследственно выражает социально востребованную ложь, в той или иной мере искажая нашу интендированную мысль, для выражения которой у нас нет другого языка, чем этот.

Но разве язык может лгать? Харальд Вайнрих спрашивал, может ли лгать слово. Если слово может лгать, тогда континуум слов, составляющих язык, тоже в принципе может прийти до состояния «понятийной катастрофы», когда любое высказывание на данном языке не смеет претендовать на истину, даже если мы непрерывно пытаемся говорить правду. Вайнрих же говорит, что отдельно взятое лекси-

ческое слово лгать не может, но в контексте оно способно выражать социальную ложь. Например, немецкие слова *Blut* «кровь» и *Boden* «почва, земля» не вызывают подозрений, но словосочетание *Blut und Boden* — это программная идеологема Третьего рейха. Вся масштабная ложь гитлеризма напоминает о себе через союз *und* «и», и с этим союзом *Blut und*, равно как и *und Boden*, немецкие слова «кровь» и «почва» начинают лгать. [Weinrich 1974: 35-36]. А этим предполагается, что и отдельные лексические слова могут лгать, если их произнесение сопровождается обязательным домысливанием идейного контекста, как в современных языках «демократия». В форме слова лжёт понятие [там же: 37-38].

Очевидно, что здесь требуется дополнительная проработка вопроса, в частности, с уточнением терминологического языка, который мы используем. Зачем спрашивать о лексикографически понятном «слове», если проблема принадлежит социально-политическому «слову», дискурсу? Моя феноменологическая редукция, предложенная в [Литвинов 2009: 114], представляется мне достаточной для прояснения сути дела. Позволю себе самоцитирование:

«Во всех случаях, где люди встречаются со словом, они преобразуют отвлечённую бесконечность языка в сосредоточенную форму отдельного выражения: в лингвистике это оборачивается (лексической) единицей, в поэзии – материальным телом духа, в управлении и пропаганде – авторитарным жестом социального человека. Но во всех случаях мы как бы останавливаем поток языка в какой-то фокальной точке и вправе ему удивиться – либо как озадаченный исследователь, либо как благоговейный жрец, либо как деятельный общественник.

То есть, отношение, конститутивное для слова как слова, это отношение заинтересованного внимания, отчуждающего нечто языковое с целью его осмыслить и о нём говорить. Так мы можем понять слово не в качестве знака, и не в качестве бога, и не в качестве управленческого акта, а слово как слово. Варьирование этой глобальной интенции в разных практиках означает включение критериев точности и объективности у лингвистов, критериев полноты смысла у художников слова, критериев социальной эффективности у общественников». Конец цитаты.

Вайнрих по замыслу обсуждает идеологическое слово, но замыкается на лингвистическом понятии слова (по лексикографическому критерию). По критерию же социальной эффективности *Blut und Boden* – другое слово, чем *Blut* или *Boden*, а *Blut und* – вообще не слово. И в современном русском употреблении *патриотическое воспитание*

и *русский мир* – это слова, отдельные от слов *воспитание, патриотическое, мир и русский*.

По крайней мере один современный автор (другого я не обнаруживаю) решительно утверждает, что целый национальный язык может лгать, и даже в каком-то прецеденте не может не лгать. Украинский филолог Павел (Павло) Даныльченко написал многие сотни страниц о том, что русский язык тотально изолгался, и что бедные носители русского языка, формирующего их картину мира (ссылки на В.фон Гумбольдта и А.А. Потембню!), обречены на инфантильность и, как следствие, на духовное и всякое иное рабство. Автор, правда, называет свою работу не научной, а публицистической, выводя её таким образом из-под удара научной критики, но он явно считает, что нагромождённый им материал по когнитивной семантике и этимологии и фрагменты русских авторов, критиковавших русское общественное сознание, якобы достаточно обосновывают его приговор русскому языку. См. в интернете [Даныльченко 2012]. В частности, прямо сказано: «неизбежность этой всеобъемлющей тотальной лжи уже заложена в самом русском языке».

Книга Даныльченко не относится к работам, которые принято обсуждать в науке, но мне кажется интересным прочитать её как эксперимент практического применения положений современной теоретической лингвистики с её понятиями «концепта» и «языковой картины мира». Какие тут возможны «факты»? Русскоговорящие запросто употребляют глагол *чувствовать* вместо *ощущать* (например, *чувствую тепло, чувствую жажду*), тогда как украинец не путает *чуття* «ощущение» и *почуття* «чувство, как переживание». Значит, считает этот автор, «бессознательные психические установки, фиксируемые русской языковой картиной мира, существенно тормозят развитие левополушарного мышления». Даныльченко, если бы был не просто широко образованным языковедом, а мыслящим лингвистом, пожалуй, заметил бы, что таким образом на основе любого двуязычного словаря легко можно определить любой язык как безнадежно дефективный; например, немецкий язык не различает истину и правду, мышление и думание, английский не разделяет значение и смысл, французский не различает совесть и сознание, и так далее с ничем не ограниченной возможностью спекуляций, и, «следовательно», это (и прочее всё, что мы таким образом установим) не может не отразиться на их мировосприятии, и они со своими языками не могут не лгать.

Лгут люди, а не языки. Лжёт Даныльченко, а не русский язык, на котором он пишет, и не украинский, который он предполагает для

себя как фон «правдивого языка». И всё-таки вопрос, может ли язык лгать, не является пустым. Пусть мы не смешиваем лингвистические факты значений слов с психологическими фактами мировосприятия и социологическими фактами идеологических практик, и пусть мы не кладём на одну доску мыслительную работу (Гумбольдта) и публицистическую тираду (Даныльченко). И всё же: язык есть материатура человеческого социально-духовного мира, т.е. такая фактичность непрерывно проявляемого общественного сознания, которая неустранима из социальных коммуникаций. Говоря в понятиях понимающей социологии Бергера и Лукмана, мы конструируем понятийно оформленную действительность, которую переживаем как реальность [Berger & Luckmann, 1967]. Смещая фокус внимания на роль языка в «социальном конструировании действительности», мы можем даже сказать, как Бергер и Лукманн: «Language forces me into its patterns», т.е. язык «вталкивает меня в свои матрицы» [там же: 53]. Но, заметим, речь идёт не о различии значений в языках английском, немецком, русском, украинском; это результат нашего деятельностного конструирования становится языком, который говорит нам, как и что в этом мире понимается. А ложное сознание (идеология), воспроизводимое организованной практикой пропаганды и педагогики, становится фактом языка. Но естественный человеческий язык всегда шире и мощнее, чем его шаблонные идеологемы, он есть открытый горизонт возможного нового коммуникативного опыта. Даже в ситуации жёсткого идеологического контроля мышление в притязательных коммуникациях преодолевает социально востребованную инерционную ложь.

### ***Цитированные источники***

1. Даныльченко, Павло. Язык мой Враг мой (О Великом лицемере и Могучем душегубе) / <http://www.proza.ru/2012/06/30/1287>.
2. Литвинов, В.П. Доклады о мышлении [2006] / <http://www.circleplus.ru/content/summa/d1&d2>.
3. Литвинов В.П. Понятое мышление // Кентавр. Методологический и игротехнический альманах. Вып. 40, 2007. С. 29-46.
4. Литвинов В.П. Феномен слова // Вестник Тверского государственного университета. Серия Филология. Вып. 4. 2009. № 29. С. 101-119.
5. Литвинов В.П. Проектирование будущего университета. Пятигорск: ПГЛУ, 2010.
6. Литвинов В.П. Образ выпускника университета в терминах компетенций // Гуманитарные технологии, или Путь к новому университету. Ред. А.Г. Авшаров. Пятигорск: ПГЛУ, 2012. С. 43-57.

7. Щедровицкий Г.П. Знак и деятельность. Книга III. Методологический подход в языковедении. М.: ННФ «Институт развития им. Г.П. Щедровицкого», 2007.
8. Berger, Peter L. & Luckmann, Thomas. The Social Construction of Reality. London: Allen Lane-Penguin Books, 1967.
9. Brecht, Bertolt. Über Realismus. Leipzig: Philipp Reclam jun., 1968 [«Fünf Schwierigkeiten beim Schreiben der Wahrheit», SS. 53-70].
10. Habermas, Jürgen. Wahrheitstheorien // Wirklichkeit und Reflexion. Walter Schulz zum 60. Geburtstag. Pfullingen: Günther Neske, 1973. S. 211-265.
11. Luhmann, Niklas. Soziale Systeme. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1984 или любое немецкое издание.
12. Tarski, Alfred. Der Wahrheitsbegriff in den formalisierten Sprachen // Studia philosophica. Commentarii societatis philosophicae polonorum. Vol. 1. Leopoli: Książka, 1935. S. 261-405.
13. Tarski, Alfred. The Semantic Conception of Truth // Philosophy and Phenomenological Research. Vol. IV, n.3, 1944. P. 341-376.
14. Weber, Max. Geistige Arbeit als Beruf. 2. Vortrag: Politik als Beruf. München u. Leipzig: Duncker u. Humblot, 1919.
15. Weinrich, Harald. Linguistik der Lüge. Heidelberg: Lambert Schneider, 1966 [с новым послесловием München: Verlag C.H. Beck, 2000].
16. Witkowski, Tomasz. Psychologia kłamstwa. Motivy, strategie, narzędzia. Tarczów: Biblioteka moderatoru, 2006.

**2. ИЗ МАТЕРИАЛОВ  
ПЯТИГОРСКИХ  
ПРОБЛЕМНЫХ СЕМИНАРОВ  
(ДОМАШНИЕ ЗАГОТОВКИ  
К ВЫСТУПЛЕНИЯМ)**

## «Я» В МЕТОДОЛОГИЧЕСКОМ СЕМИНАРЕ

*Памяти Олега Валериановича Карасёва*

### **Сообщение 2018 года**

Дискуссия по «проблеме Я» состоялась в декабре 1983 года в проблемном семинаре в Пятигорском государственном педагогическом институте иностранных языков. Поводом для неё послужили острые конфликтные ситуации, для семинаров этого жанра вообще-то обычные, но то, что уже принималось как должное закалённым в полемиках методологическим окружением Г.П. Щедровицкого, в Пятигорске иной раз вызывало болезненные реакции новичков, а новичков в этом новом семинаре «Герменевтика» было немало и терять их не хотелось. Олег Валерианович Карасёв выступил с докладом о мышлении И.Г. Фихте в его отношении к герменевтике, так обозначилось «Я как герменевтическая проблема», и это прямо касалось ситуации в семинаре. Фихте ничего не знал о методологических семинарах, но много чего знал и говорил по поводу «Я» и «яйности» (такое дурацкое слово образовали переводчики Фихте, чтобы передать его понятие *Ichheit*). Исследовательских работ о Фихте бесконечно много, но Олег Валерианович (он всегда говорил по-русски *Фихте* с мягким немецким *хь*) обсуждал его, имея в виду нашу ситуацию.

Сама идея герменевтического семинара также обязана своим появлением в Пятигорске импульсу со стороны О.В. Карасёва, который в прежнем семинаре «Наука как деятельность» поставил вопрос «Как лингвист может понимать тексты Эйнштейна?». При обсуждении его доклада на доске появилась схема, которую мы потом назвали «герменевтической вилкой»; кажется, на ОДИ-12 в Харькове в 1981 году мы вместе с ним использовали её в дискуссиях. Оценивая особенность нашего тогдашнего демарша, мы определили наше мышление как герменевтическое и затеяли семинар «Герменевтика».



**В.П. Литвинов в семинаре «Герменевтика» 19 декабря 1983 года (реконструкция на основе рукописных набросков к докладу)**

Я предлагаю начать с понимания Декарта, это ведь его классический рационализм подсказал немецким идеалистам их головокружительную тематику сознания и самосознания, которая у Фихте выразилась в его философии «Я».

Но в немецком мыслительном пространстве уже можно было различать *Realität* и *Wirklichkeit*, т.е. реальность и действительность. В этих терминах скажу несколько слов о декартовском «(я) мыслю».

«Я» реально, а то, что я обсуждаю, действительно, то есть оформлено пространством (*res extensa* по Декарту), и потому оно может быть предметом мысли. «Я» же - на границе пространства предметности, и в этом смысле - хотя и *res*, но не предмет: *res cogitans*.

«Я» не просто носитель духа. Мыслителя можно опредмечивать. Бога тоже. Но «Я» есть «акт Я», и в этом смысле нечто непространственное. Но так реально существует сознание. (Думаю, что Гегель, положивший всё это в одну плоскость, пренебрёг этой тонкостью у Декарта).

А чего не додумал Декарт? «Я» познаётся в рефлексии, когда есть «Ты». Ты мыслишь меня как границу твоей мысли, я же мыслю тебя как границу моей мысли о предмете. И это даёт **нам** сознание наших «Я». А в открытой дискуссии этому свойствен некоторый болезненный момент. Говорящий «я» в радикальной коммуникации подставляется. Примерно так:

Карасёв произносит ТЕКСТ (напр. о Фихте)

Литвинов: Я понял Вас так..., потому что... (Заметьте, раскрывается «Я»; это первая возможность «охоты на дураков»)

Карасёв: Но это, видимо, не то, что я сказал. Я Вас в свою очередь понимаю так..., потому что... (Вторая возможность «охоты на дураков»)

Литвинов: ... и т.д.

Конечно, Карасёв в своём докладе о Фихте уже говорил «я». В проблемных семинарах вообще не принимаются доклады в безличной форме или с так называемым «научным Мы» (якобы скромным). Тот, кто претендует на собственную ответственную мысль, должен говорить «я», другие формы безответственны.

Проблемный методологический семинар имеет определённые нормы «жизни». Дискуссия, а это значит - противопоставление в мышлении - одна из таких норм. Я бы не сказал, что это принцип; это скорее условие существования мышления, ибо полное единство миропонимания останавливает движение содержаний.

Если **я** хочу продвинуться в нашей общей работе, **я** должен найти такую точку, такой угол зрения, при котором то, что говоришь **ты**, окажется проблематичным. Таких точек много, и **я** должен знать, какая из них продуктивна для **нас**. Здесь происходит взаимодействие между величинами «я», «ты», «мы»; при этом сущность величин, возведённых таким образом в категории, не меняется от смены точек зрения. Константно именно то, что «я» - это не «не-я» (вариация на тему Фихте). «Я» осуществляется как «другое, чем не-я», тем самым в своём внутреннем содержании «я» принципиально производно от окружения (в этом смысле «второе ты» по Ортеге-и-Гассету). Никакой собственной определённости «я» иметь не может. (Если кто-то говорит «я как декан», то это просто речевая функция, сущности «я» тут нет, она фиктивна, а фиктивность прикрыта местоимением. Определённость же принадлежит «декану»).

«Я» неопределимо в принципе. Любое определение выносит его в действительность, положенную напротив «меня», упёршегося в эту действительность, в «квази-я». «Я» - это всегда то, что говорит «я», а не то, о чём оно говорит. **Я** положил себя предметом речи? - Но это значит индивидом, а не «я». «Я» реально, а то, что **я** обсуждаю, действительно, т.е. оформлено пространством (*res extensa*) и может быть предметом мысли. **Я** мыслю, и в этом смысле **я** - не предмет, **я** вне пространства, и **я** - *res cogitans*.

Декарта **я** теперь понимаю следующим образом: не *cogitatio* есть особая *res*, а *cogito*, т.е. «акт Я», здесь важно первое лицо единственного числа! О мышлении можно как-то говорить, о **Я** - нет. (Но Декарт, кажется, в этом не был последователен, он местами делал «я» темой).

Эта реальность «я» (не «действительность»!) становится предметом обсуждения в коллективной мыследеятельности именно за счёт её деятельностного компонента: кроме предмета мысли есть реальные отношения мыслящих, которые регулируются в рефлексии (т.е. в направленности сознания на реальность): **Ты** мыслишь **меня** как границу **твоей** мысли, **я** же мыслю **тебя** как границу **моей** мысли. **Наша** мысль имеет познаваемого ею мыслителя через рефлексию.

В связи с этим обсуждают вопрос о «позициях». Позиция есть объективность, снятая в этой рефлексии с многих **Я** и вынесенная «на доску». Есть тысячи вариантов снятия, нет списка «существующих в культуре» позиций. Но «Я» - не позиция, это типичная «непозиция». **Я** субъективно.

Мы много раз слышали, что «у нас общая марксистско-ленинская позиция». Это может быть значимо, если нам надо выступать против

не-марксистов, но в рамках семинара это - просто непозиция, поскольку ничему не противопоставлено. Искать противопоставления внутри семинара - значит определять свою позицию одновременно с чужой, это значит обсуждать с ним **его и мою** позицию. Но каждое такое столкновение напоминает нам о нашем «я», ибо оно нуждается в «Ты» как предел мыслительной работы.

Поэтому спор о позициях не даёт истины о позициях, но даёт последовательное обособление, индивидуацию внутри семинара: чем дальше, тем меньше мы будем понимать друг друга, тем резче выделено наше индивидуальное «я» - вплоть до идиотизма, как минимум эгофобии (ибо «заглянув в себя, я вижу дурака», как выразил это А.А. Тюков в поезде Свердловск - Москва, где была интенсивная «рефлексия» группы Щедровицкого по ОДИ-1, проведённой в Новоуткинске в августе 1979 года).

**Я** всего этого не понимаю. **Мне** вообще кажется крайне важным понять, что **я** не понимаю и почему.

Когда **мы** начинали эту тему, **я** представлял себе это дело так: **мы** неизбежно начнём рисовать на второй доске самих себя, раскрывая по ходу дела своё «я» в отличие от того предмета на первой доске, о котором **мы** говорим. Сейчас **я** понимаю, что нарисованное на второй доске - тоже не реальность, и «Я» там не появляется. «Я» - всегда то, что ещё не нарисовано. Всё, что нарисовано, уже предмет мысли, уже в пространстве (понимаете Декарта?).

Субъективность на досках превращается в позиции и объективируется; вместо «меня» там может быть уже любой, выполняющий те же условия, т.е. «не-Я»!

Специфическая трудность нашего семинара в данный момент заключается в том, что **мы** взаимодействуем в плане чистого мышления, взаимо-мыслим, а не взаимо-действуем. Перед нами маячат предельная индивидуация и кризис. Это - важный экспериментальный результат. Если вы собираетесь проектировать нового человека как homo interagens, не начинайте с мышления, начинайте с работы, с живого контакта в реальности. В связи с обидами в семинаре Олег Валерианович напомнил принцип «Люби ближнего». **Я** начинаю по-новому понимать этот тезис; но **я** не могу сейчас облечь в слова это понимание.

Суть дела в том, что мы ничего не сможем друг другу объяснить в мышлении, если не раскроем «Я» в позиции; но как только **я** открываюсь, **меня** бьют в то место, где **я** обнажён. **Мне** больно, поэтому **я** не откроюсь - эгофобия; но таким образом **я** и себя не пойму.

Пусть некоторый А. делает доклад о Декарте. У него спрашивают:

«На какой позиции **ты** находишься?» - Здесь можно ответить только указанием на позиции, затверженные в культуре: философа, историка, исследователя... Собственно семинарский ответ здесь невозможен. Но если Б. выступил против доклада А. со своими тезисами, то вопрос «На какой позиции **ты** находишься?» обретает другой смысл, адекватный задаче семинара, ибо в самом движущемся содержании теперь есть «Я» и есть «не-Я», и, изобразив их на доске, я фактически рисую позиции. (Это - перевёрнутый тезис Олега Валериановича: «То, что говорю **я** с определённой позиции - это объективно значимо»). Но теперь заметим, что то же самое субъективное просто совпадает с объективным, отличие - в нарисованности, и - диалектика! - это уже не то же самое).

Если **я** сказал нечто объективное («Земля круглая»), то **я** вообще ничего не сказал. Действительно сказанное субъективно. Будучи услышанным, оно объективируется в понимании и вновь субъективируется, если слушающий делает его своим, отделённым от сказавшего это. Объективное вообще существует между людьми, на «доске содержания», куда «Я» не может попасть по определению.

ПОЭТОМУ:

Мыследеятельность в семинаре есть наша реальность, и феномен «Я» принадлежит этой реальности. Бессмысленно обсуждать «я» как предмет, иной, чем личное местоимение. Но вполне осмысленно говорить «я» в работе, и именно «я» надо говорить в действительной работе семинара, ибо это достоверно и реально дано. Реальность берётся рефлексией (непосредственным отражением), и рефлексия - посредник между реальностью (деятельность, жизнь) и мышлением (оперирование объективированными содержаниями).

Значит, каждый, кто хочет понимать и мыслить, должен говорить и мыследействовать. **Я** сожалею, но молчащий член семинара, кажется, видит только действие на сцене; кто не вбрасывает своё «я» в общий котёл, отстаёт от поезда. Он может получить много, но несравненно меньше того, что мог бы получить, если бы не боялся боли.

Это значит, **мы** подошли к той черте, где требование «Люби ближнего» жизненно важно для дальнейшего развития. Действительно, в методологической среде обнаруживаются любители «охоты на дураков», освоившие пару-тройку схем, достаточных, чтобы самоутверждаться за счёт новичков. Но самоутверждение по духу чуждо методологии, и любое, даже самое резкое оппонирование может быть оправдано, если не «я», а «наше дело» делает его уместным. А на заседании семинара всегда есть кто-то в роли ведущего, и он должен урезонивать ретивых «охотников». Следующий шаг - для высококонтрав-

ственных, испытание, «насколько в любви закалённые».

**Моя позиция:** Я противопоставил себя всему семинару в рамках этой темы, поскольку спросил, не «Как решать проблему “Я”?», а «Как может существовать открытое “Я” в нашем конкретном (или аналогичном) семинаре?». Вопрос поставлен от рефлексии. Началось это соображение с того, что я интуитивно почувствовал опасность для семинара в том, что происходило на последних заседаниях (и что кто-то назвал «охотой на дураков»). Я был далёк от мысли, что началась деградация, и предположил, что **мы** вышли на какую-то критическую точку развития, и **наши** трения - выражение этой ситуации.

И что же конкретно происходит в **нашем** конкретном семинаре? Вот О.В. Карасёв тематизирует Фихте. Слушатель В.П. Литвинов, подготовившись по этой теме дома, думает о «филиации идей» и о генезисе категории «деятельности» у Фихте, слушатель М.П. Гришина о чём-то другом, а докладчик о своём. Распределим их на доске, приписав каждому «содержание на табло сознания». Текст Олега Валериановича в лингвистическом смысле объективен: это слова в их упорядоченности и с их значениями, взаимодействующими по нормам русского языка. Это уже в пространстве между нами - вне Карасёва, Литвинова и Гришиной, это то, что проговорено. Но каждый из этих троих отображает этот (лингвистически объективный) текст на свои вопросы и, через понимание и субъективацию, умножает текст. Здесь уже три разных текста, все субъективны.

Как работать? Обычной практикой нашего семинара является задавание вопросов, максимально укрывающих «я» спрашивающего, например: «Так мы услышим что-нибудь о Фихте?», или: «С какой позиции Вы говорите?», или комментарии вроде: «Мы-то хорошо думали о Фихте, но в Вашем изложении мы ничего хорошего о нём не думаем», и т.п. В таких реакциях нет даже претензии на мысль, зато есть флёр объективности. Можно ли удивляться тому, что «информатор» стал любимой позицией многих участников. Я моё «я» прячу за Фрейда, за Маркса, за Декарта, или даже за безличное образованное сообщество. Пускай бьют, попадут в них, а не в меня. Но мышление же должно быть работой.

А мысль по теме, которой я придаю особое значение, - вот эта:

«Я» есть определённый **АКТ**. Оно **происходит**, а не **существует**, и происходит в **реальности**, а не в (мыслимой нами) **действительности**.

**Мне** пришлось попотеть, чтобы прийти к этому утверждению, авторство которого **я** хотел бы закрепить за собой, если не отрекюсь, услышав **вашу** критику.

## СПЕЦИФИКА ГЕРМЕНЕВТИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ

*Текст выступления 20.11. 1996 г. на межвузовском проблемном совещании по герменевтике в ПГЛУ (отредактирован в 2017 г.)*

О. С учётом начавшейся у нас дискуссии я намереваюсь сосредоточиться на главном вопросе нашего проблемного совещания - на вопросе о специфике герменевтических проблем.

Несколько слов о «проблеме». Когда я формулирую вопрос, для поиска ответа на который я должен себя (или других) организовать и искать путь, я такой вопрос называю **проблемой**.

Может быть, одна из особенностей герменевтических затруднений в том, что всё, о чём трактует герменевтика, **неявно**; это примерно тот «ландшафт», который рисовала Нина Ивановна Колодина. Вопрос в том, как такие предметы могут мыслиться **ответственно**.

1. Примем для начала (не связывая себя навсегда с этим допущением), что герменевтика имеет дело с текстами или знаками. В чём её специфика на фоне лингвистики, семиотики и пр.?

Моё утверждение: герменевтика берёт знак **без** обозначаемого, текст **без** действительности, знание **без** объекта и т.д. (Должны ли мы непременно спрашивать: Знак **чего?** Текст **про что?** Знание **о чём?**).

Другими словами, для герменевтики слово не связано с предметами, оно - **виртуальный** знак, который может быть сделан актуальным, текст - **виртуальное** описание, которое может быть прочитано как описание актуального мира, или как утверждение, теория и т.д., а знание - **виртуальное** знание, которое может быть сделано актуальным (как знание из «Физики» Аристотеля сделалось актуальным для Томаса Куна, когда он понял, как его надо читать), и так далее.

2. При этом допущении осмыслен вопрос «Что значит **А?**». Если **уже задано**, что оно значит, то нужна не герменевтика, а поиск информации, и компьютер сделает за герменевта всю работу. Герменевтика исходит из того, что вопрос «Что значит **А?**» **осмыслен всегда**. Это равносильно допущению, что слово берётся как безденотатное, текст как свободный от мира, вещь как неочевидная в своём смысловом статусе. Герменевтика безусловно оправдана, если язык, тексты и вещи имеют **переменный смысл**.

Это легче утверждать о текстах (см. у Ролана Барта и других современных французов), ещё легче о словах (вся история идеи, что слово может иметь значение только в связной речи - это плохо выражено, но мысль верна). С вещью сложнее. Пример Хасана Сеиталиевича Джанибекова со стаканом, конечно, сложнее: хотя со стаканом можно много

чего делать, но сам стакан предназначен для того, чтобы из него пить.

Попробуем «понимать стакан». Предназначенность стакана (и тем самым его «объективный смысл») не зависит от его физической формы. Наоборот: он изготавливается в такой форме потому, что имеет это предназначение. **Смысл** стакана, таким образом, **предшествует** его материатуре.

Но представьте себе, что мы взялись торговать стаканами. Тогда нам не надо думать о том, для чего он нужен, а надо о том, как он «пойдёт» на рынке. Теперь он для нас выступает товаром. Вы заметили: первая часть моего рассуждения - от «Sein und Zeit», вторая - от «Das Kapital».

Но если при этом потребительная ценность (Gebrauchswert) стакана обосновывает его меновую ценность (Tauschwert), то это уже - **отношение между смыслами**. «Природные» свойства стакана как материального образования сугубо вторичны в этом месте рассуждения. Мир есть, как говорит Хайдеггер, целое смысловых связей (das Bedeutungs ganze, der Verweisungszusammenhang). А Маркс из прошлого века к этому добавляет: но когда **смысл воплощён** в вещи, когда меновые отношения воплощены в деньгах, смысл может становиться действительным богом. Русский гранёный стакан воспроизводит алкаша, как деньги воспроизводят торгаша (и, конечно, шире - рыночные отношения). Целостность, единство нашего мира - это единство смысловых отношений. С другой же стороны, существование смысловых отношений во времени зависит от их материализации.

Ни Маркс, ни Хайдеггер не могли эту действительность описывать без герменевтики просто потому, что смысловой статус вещи - это **факт нашего жизненного мира**. А множественность связей, в которые включена вещь - это то, что делает вещи противоречивыми, неоднозначными, принципиально спорными. А я предполагаю в недалёком будущем применить герменевтический разум к ещё более спорным предметам, на которых обламывается наука: к совести, к любви, к Богу. Я не могу принять «реализма», при котором любовь - это половое влечение с какой-то там игрой гормонов в организме, что совесть - состояние сознания (а «сознание» видимо в мозгу?), а Бог вообще - суевная выдумка, хотя её надо уважать.

4. Я мог бы сказать в этом месте: специфика проблем герменевтики - в её **предмете**: это проблема **смысла**. И это вполне правильно, на мой взгляд, но поверхностно. На этом уровне можно было бы перетолковать проблему как **научную** (= выявление всех связей, определяющих данную вещь) или **методологическую** (= изменение материаль-

ных основ жизни для преодоления противоречивости вещей и самой жизни. Так у Маркса). На мой взгляд, Маркс сделал великое открытие, но, увидев выход в методологии, пренебрёг глубиной герменевтической проблемы. Надо продолжить движение на линии герменевтической проблемы, размышлять над **встречей** человека и вещи, человека и текста, человека и слова, человека и человека. Это действительно **герменевтический прафеномен**, поскольку только для человека вещь имеет смысл, текст нечто говорит, слово имеет значение, язык обозначает мир. Герменевтика работает на этих связях.

5. Насколько я понимаю Олега Валериановича Карасёва и самого себя, моё видение герменевтики по сути отличается от его видения тем, что я напрочь исключаю знание и всю терминологию знания из герменевтического предмета. Знать можно идеальное, знать - это всегда присвоить реальность в модусе идеальной действительности, привязать слово и текст к «денотату» и «миру». Виртуальное нельзя знать, но им можно владеть, и его следует интерпретировать. При этом возникает, изощрается, сгущается смысл. Смысл можно вводить в систему знания, как у Маркса, и всякая наука это скрытым образом делает (в отличие от Маркса, делавшего это открыто!). Но герменевтика не обязана нырять в научное знание и растворяться в нём. Суть герменевтического дела в том и заключается, что мы виртуальное не актуализируем, а сохраняем в его виртуальности. Может быть, истинно герменевтический вопрос формулируется не так:

«Что это **значит?**»,

а так:

«Что это **может значить?**».

Язык - не «система знаков» (Соссюр), а «система методов работы духа» (Гумбольдт); на этом нельзя построить науку, но зато это гораздо реалистичнее. Слово - не знак. И **реализм смысла** герменевтика противопоставляет пошлому реализму материальных форм («вульгарному материализму», как говорили классики марксизма).

6. По поводу любого текста, письменного или устного, мы можем сказать: «Не вижу содержания (Меня здесь держат за фраера)». Но в каждой такой ситуации автор текста вправе сказать: «То, что ты слышишь (видишь) - это и есть содержание». Или: «Ты должен брать это как содержание, а не как поток слов-звуков». Это совершенно справедливое требование, остаётся только понять, что это значит (может значить): **взять нечто как содержание** (нечто, что физически дано как материальная форма предполагаемого содержания).

Это - вопрос **феноменологии содержания** и одновременно (тем

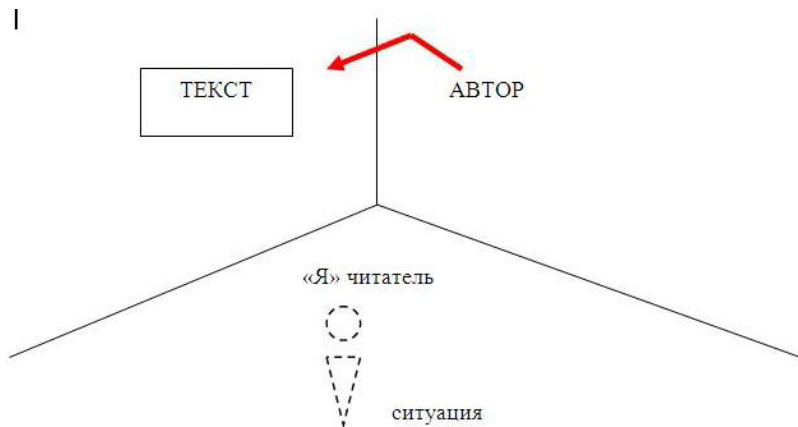


самым) **вопрос герменевтики** и одна из центральных её проблем. О специфике позже.

7. Можно как-то показать содержание, если начать с построения на доске отношений между текстом-сообщением, автором и читателем («я»). Воспринимая сообщение, я его не понимаю - это значит, что мой горизонт смыслообразования недостаточен, или что мои ожидания, моё предпонимание блокируют требуемое прочтение. Поскольку текст пока содержателен только для автора, я должен отнестись к нему так, как к нему относится автор. Рефлексия – не выход куда попало, а выход в **позицию, маркированную условиями понимания**. Мой «автор» должен стать такой **точкой** моей **рефлексии**. Как это возможно? Я должен **забыть**, что я сам про «это» думаю, и **спросить** его, что он про «это» думает. Но он **уже сказал**, что он про это думает. Тогда я спрашиваю, зачем ему это надо, почему он думает «это» об «этом», что это значит для его жизненных или интеллектуальных забот, и т.д. Если это - книга, я ищу другие тексты того же автора, чтобы приписать этому тексту некоторый квази-деятельностный, квази-мыслительный смысл. Я никогда не узнаю точно, как это там у него, но я уразумею, как это возможно - то, что он об этом говорит. Это значит, что я **понял текст**. Заметим, что я понял его лучше, чем сам автор, потому что я **опустошён как субъективный фокус**, избавился от предпосылок какого-то определённого разума, а автор пока остаётся со своими предпосылками, Vor-urteile.

Когда так взаимодействуют живые люди, они в благоприятном случае опустошаются оба, оба **работают на организацию понимания**, своего и чужого, и это есть коммуникация в самом взыскательном смысле слова. Интеллектуальная дискуссия предполагает **«коммуникативную вменяемость»** (Хабермас), а это значит, помимо прочего, отношение к своим основаниям как безусловно проблематизируемым (kritisierbar. Хабермас).

8. Этим определяется **схема пространства содержания**, принятая (может быть временно) в Пятигорске, как базовая схема конструктивной герменевтики.



На этой схеме, вообще говоря, присутствуют **«происходящие»** содержания, а не **«существующие»**. Именно для закрепления содержаний как существующих создаются **тексты**.

9. Главная проблема текста в том, что, будучи формой **для** удержания содержания, текст **не может** удерживать содержания. Слова, из которых он «соткан» (именно таково значение латинского *textum*), знаки виртуальные, и их полная актуализация возможна, если текст сопровождается метатекстом, фиксирующим, что в точности обозначается элементами текста-объекта. Но метатекст тоже состоит из виртуальных знаков, и т.д. Это значит, во-первых, что тексты имеют содержания, поскольку вступают в отношения с другими текстами, подобные отношениям людей на нашей схеме; во-вторых, что это содержание не может быть однозначным, если это не вменено за счёт законов, принадлежащих не культуре (а партии, или церкви, и т.д.). Это - проблема идеологии; Марксу здесь принадлежит ещё и такой вклад в герменевтику: он основал и обосновал (хотя и недостаточно) критику идеологии как интеллектуальную практику. Герменевтика **принципиально антиидеологична**.

10. Последний шаг перед ответом на вопрос о специфике проблем в герменевтике - определение **герменевтического факта**. Факт вещи включает смысл, после Маркса и Хайдеггера (и беллетристов вроде Рильке) об этом спорить не приходится. А что такое **факт смысла**? Схема Щедровицкого (из статьи «Смысл и значение» в «Проблемах семантики» 1974 года) содержит позицию «Исследователя», отдельную от позиций коммуницирующих субъектов, но к ней надо добавить ещё

отдельную позицию «Организатора смыслоустанавливающих отношений» и возможные преобразования этой схемы, как показано в моей статье «Структура герменевтического факта (к проблеме фактичности смысла)», которую как раз сейчас опубликовал «Вестник ПГЛУ», № 1, 1996 (с. 36-45).

11. Имитируя обобщение, я могу сказать, что вообще герменевтические проблемы - **проблемы удержания смысла**: проблема **подлинности** вещи; проблема **значения** слова; проблема **понимания** человека; проблема **содержания** текста. Ни одна из проблем не разрешима так полно, как разрешимы теоретические проблемы науки. Но ведь смысл и не подлежит **исчерпанию**, он подлежит выявлению и **обогащению через выявление**.

Другие характерные свойства герменевтических проблем производны от основной их особенности - неисчерпаемости того, чему Я не являюсь хозяином. Герменевтика не обобщает. Герменевтика обращена к прошлому (к истокам смысла). Герменевтика характеризуется понимающим отношением. Герменевтика соучаствует в интерпретациях. Герменевтика (особым образом) субъективна. И так далее. Но все эти дополнительные определения имеют **герменевтический смысл**.

Я надеюсь, что участники дискуссии правильно поняли жанр моего выступления. Я не представляю концепцию или результат исследования; я усиленно пытаюсь показать направление, в котором можно продвигаться дальше, и этим внести вклад в дело, которое мы взяли на себя.\*

*\*Выступления Н.И. Колодиной (Тамбов), Х.С.-А. Джанибекова (Нальчик) и О.В. Карасёва (Пятигорск), на которые я ссылаясь, в моём архиве отсутствуют. Автор*

## ПОНИМАЕМОЕ

*Из материалов проблемного семинара «Герменевтика-2» 17. 02. 2003 г.*

*Отдельные детали и подстраничные сноски добавлены  
в электронном наборе в апреле 2018 г.*

Если вы услышите вопрос об «объектах понимания», не спешите с ответами. Может быть спрашивающий, как и вы, заинтересован выяснить, как устроена действительность, которую мы понимаем, но он сказал «объекты», а это выражение имеет культурные коннотации, противные герменевтическому пафосу, установке на смысл. Предложите вашему собеседнику выражение «предметы понимания», это почти наверняка будет для него приемлемо. Натуралист чаще всего не различает предмет и объект, а вы, если хотите, чтобы ваш вопрос был разрешимым, должны их различать. Смысл (а равно и понимаемое) есть то, на что обращено понимающее отношение, объект же - это то, на что обращено познающее отношение. Это два разных устройства сознания, включённого в работу.

Объект есть, когда осуществлена объективация предмета нашего опыта. Познать его - значит определить его показательную материальную форму, воздействовать на неё таким образом, чтобы она отреагировала на воздействие, а для зафиксированной реакции этого исследовательского материала подобрать слово-термин из запаса заготовленных для этого обозначений; а если нужны новые обозначения, вы создаёте их таким образом, чтобы они вписывались в контекст «твёрдого ядра» соответствующей теории<sup>1</sup>. Объективировать предмет - значит лишить его всякой актуальной конкретности, исключить любые моменты субъективности. Объект - элемент «объективной действительности»; познаваемое по понятию, т.е. по сути, вне нас и не зависит от нашего сознания, даже если это сознание коллективное.

Понимающее отношение, напротив, направлено на действительность в её конкретности человеческого мира, на любые «проявления духа» (В. Дильтей), на тексты культуры, человеческую деятельность и коммуникацию, на устройства жизненного мира (А. Шютц), ситуацию (Г.П. Щедровицкий), «значащие формы» (Э. Бетти), «символические формы» (Э. Кассирер). Оно может быть направлено даже на объекты науки, но взятые как часть человеческой жизнедеятельности, с интерпретацией смысла науки, содержания методов, приемлемость или

<sup>1</sup> Понятие и выражение hard core Имре Лакатоса. См. Lakatos I. History of Science and its Rational Reconstructions // Boston Studies in the Philosophy of Science VIII. PSA 1970 in Memory of Rudolf Carnap (ed. by R.C. Buck and Robert S. Cohen) - Dordrecht: D. Reidel Publishing Company, 1972 - p. 91-136

неприемлемость для нужд образования и культуры, и так далее. Как устроено понимающее отношение? Я напомним «герменевтическуювилку» для тех, кто уже работал в «Герменевтике - 1» или читал об этом в наших работах. Дальше по тексту я охарактеризую её в новом контексте.

Вообще-то понимающее отношение не придумано высоколобыми интеллектуалами, оно свойственно нам всем по течению жизни, хотя мы о нём не говорим. Его тематизация - дело высоколобых, она по сути и есть герменевтика. Хайдеггер однозначно прав, приписывая понимающему отношению (у него просто *Verstehen*) характер экзистенциала, т.е. необходимого параметра человеческого способа бытия. В трактате «Бытие и время» это §§ 31 и 32, но лучше, конечно, учитывать контекст этой книги целиком. Да, наше бытие-в-мире (*In-der-Welt-Sein*) характеризуется оязыковленным экзистенциальным опытом, пред-осмыслением и пред-пониманием всего, и способностью мышления (в которой коренятся основания всякой интерпретации, пере-осмысления и пере-понимания) и интерсубъективностью (*Da-Sein ist Mit-Sein* по Хайдеггеру), обрекающей на тупик всякое понимание-для-себя. Понимающее отношение к миру естественно, оно как бы врождено социальному человеку.

Этим я отнюдь не заклинаю авторитет Хайдеггера. Он сам в более поздних работах не анализировал устройство человеческого бытия, и, с другой стороны, сами эти мысли в современной социальной философии выражены многими другими мыслителями. Я назвал характерного Хайдеггера, чтобы ограничить мою собственную претензию на оригинальность.

Жизнь непрерывно требует от нас осмысленных реакций. Поскольку мы не обеспечены достаточными для этого инстинктами, мы всякий раз «должны подумать». Назовём, ради удачной метафорики, «текстом» тот сигнал, который поступает к нам извне, от нашей «ситуации». Тогда в духе этой метафоры мы должны «прочитать» этот «текст»-сигнал: о чём он нам говорит? Если схематически изобразить стрелкой наш запрос, тогда наша стрелка встретится с другой стрелкой, изображающей смысловой вызов со стороны «текста». С действительными текстами в книгах это особенно легко понимается: мы берём текст с намерением его прочитать, а он уже готов говорить нам что-то, потому что так он устроен. Мы понимаем текст, если способны отобразить его на некоторый личный опыт: опыт проживания прежних ситуаций, опыт самоопределения в общественной жизни, опыт переживаний, размышлений, а также опыт чтения других текстов. Если мы

рисуем картинку, изображающую встречу человека с текстом, тогда под «Текстом» мы можем разместить блок «Опыт», как то, к чему мы отнесём значения морфем текста. Но если в новом тексте нет ничего нового по отношению к нашему опыту, тогда думать не обязательно: мы просто реагируем, и нет никакого смыслового приращения. Если же текст-сигнал требуется ещё согласовать с «текстом» опыта, тогда нужен третий блок над первым текстом: «Основания интерпретации». Необходимо выполнить «условия интерфейса», как сказал бы специалист по искусственному интеллекту.

Итак, на схеме от человеческой фигурки веером идут три стрелки, знак одновременной актуализации понимающей установки, отнесения к опыту и активации оснований интерпретации. Эту схему мы с конца 1980-х годов называем «герменевтической вилкой». Активно задействованные основания проясняют, каким образом данный сигнал говорит нам нечто значимое о нашем опыте<sup>2</sup>. Герменевтическая вилка - примите ещё одну метафору - это луч понимания, которым мы водим по бесконечно разнообразному миру, выхватывая центральной стрелкой разные предметы понимания.

Предметы понимания не однородны: текст, человек, духовный феномен, ситуация, (историческое) событие. Это может быть и наш «опыт», подводимый под «сигнал», или наши «основания», поставленные над ним. В этом случае мы их полагаем как «текст-сигнал», под которым должен быть соответствующий ему «опыт», и над которым - соответствующие ему «основания»; иначе говоря, мы встречаемся и с «опытом опыта», и с «основаниями для оснований». Вся герменевтическая работа, предназначенная для публичного внимания, протекает в языке, и это соответствует самой материатуре смысла<sup>3</sup>. «Язык - дом бытия (Haus des Seins)», как афористически выразился Хайдеггер (не в «Sein und Zeit», а в более поздних работах).

Можно спросить (хороший ли это вопрос?), **как устроено понимаемое** таким образом, что понимающее отношение оказывается

<sup>2</sup> Эта схема неоднократно вводилась и комментировалась мной в разных работах, в частности: Литвинов В.П. Типологический метод в лингвистической семантике - Ростов-н-Д: Изд. РГУ, 1986 - с. 152-153; Он же. Полилогос: Проблемное поле - Тольятти: Изд. МАБ и БД, 1997 - с. 116-117; Он же. Герменевтика и поэзия // Герменевтика поэзии - Армавир: Изд. АГПА, 2007 - с. 166-167; Он же. Понятое мышление // Кентавр. Методологический и игротехнический альманах - вып. 40 - Москва, 2007 - с. 32; Он же. Введение в методологию. Материалы к университетскому курсу - Пятигорск: Изд. ПГЛУ, 2013 - с.34-35; Он же. Герменевтика совести // Герменевтический круг: Текст - смысл - интерпретация. Вып. 2 - Армавир, Пятигорск, Ставрополь: Изд. АГПА, 2013 - с. 195-196, 215.

<sup>3</sup> См. Литвинов В.П. Структура герменевтического факта (к проблеме фактичности смысла) // Вестник Пятигорского государственного лингвистического университета - № 1 / 1996 - с.36-46.

продуктивным. По Эмилио Бетти, это - «значащие формы»<sup>4</sup> - но что это значит? А что может значить вот это замечание Йохана Хёйзинги о его знаменитой «Осени Средневековья»: «Формы - в жизни, в мышлении - вот что я пытаюсь здесь описывать. Приближение к истинному содержанию, заключённому в этих формах - станет ли и это когда-нибудь делом исторического исследования?»<sup>5</sup>.

Ответ, который лежит рядом (если вопрос принят как «хороший»): Понимаемое должно **иметь характер текста**. Мы «читаем книгу природы» (схоластика), мы «читаем» человека, как Зигмунд Фрейд, в топике «Оно - Я - Сверх-Я», мы «читаем» историческое событие как последовательность событийных «морфем», или методологическую либо инженерную схему как пространственную упорядоченность изобразительных «морфем», и так далее.

Поскольку же понимаемое должно быть включено в горизонт понимающего герменевта (отнесено к его интеллектуальному опыту, ограниченному опытом Другого), то он сам должен бы интерпретировать себя как текст. Сравним с этим замечание Умберто Эко, что тексты понимаются текстами, и вспомним также понятие «интертекстуальности» Юлии Кристевой.

Я не против такого пансемиотизма, мне видится в этом важный прорыв гуманитарного знания к новым прозрениям. Но мне жалко потерять существенные различия понимаемых, и я предпочёл бы их типологию (хотя сейчас её не имею). Я подписываюсь под тезисом Эдмунда Гуссерля: «Каждому типу предметов соответствует его типический вид возможного опыта»<sup>6</sup>, потому что мой скромный опыт феноменологического размышления заставляет меня думать так же.

В этой связи задержим внимание на трёх поворотах философской герменевтики. Вильгельм Дильтей полагает герменевтику как общую методологию гуманитарных наук и предлагает видеть в текстах истории являющий себя в событиях духовный опыт. У него герменевтика перестаёт быть герменевтикой текста, хотя работает по текстам. Мартин Хайдеггер в «*Sein und Zeit*» смещает вопрос в план онтологических условий духовного, а это и значит человеческого, существования, решительно отрывая герменевтику от любой филологии; он начинает понимать *Dasein* не через текст, а через логику феноменологической интенциональности: как устроено то бытие, которое спрашивает о бытии. Язык - не более, чем его (бытия) определение. Позднее всё

<sup>4</sup> Его главный труд по герменевтике - Betti E. Teoria generale della interpretazione - Milano: Giuffrè, 1962.

<sup>5</sup> Хёйзинга Й. Осень Средневековья - С-Петербург: Изд. Ивана Лимбаха, 2011 - с. 20.

<sup>6</sup> Гуссерль Э. Парижские доклады // Логос (Москва) № 2, 1991 - с.20.

это будет вывернуто через язык («*Unterwegs zur Sprache*»), но всё же его герменевтика работает по понятиям, а не по текстам, его анализы поэзии - часть философии бытия, а слово «герменевтика» уже не столь принципиально, как в прежних работах (он говорит об этом в «диалоге с японцем»). Ханс-Георг Гадамер в «*Wahrheit und Methode*» возвращает хайдеггеровскую герменевтику в традицию, к письменному «преданию» (*Überlieferung*), как основе всего того, что у Хайдеггера называется «мир» (*Welt*), условие всякого понимания. Герменевтика опять становится герменевтикой текстов, представляющих, однако же, не себя самих, а всю область человеческого духовного бытия.

**Нам никуда не деться от текстов** (знаков, морфем и т.д.). Очевидно, дело в том, чтобы - в противоположность (прав ли я?) религиозной герменевтической традиции - анализировать тексты как свидетельства обо всём остальном: всё, что угодно, в аспекте смысла именно таково, как о нём свидетельствуют тексты.

Здесь мы столкнёмся с новой проблемой: язык, будучи языком мира, всё время норовит производить новые миры (**литература**), а мы, привыкшие читать тексты как тексты мира, понимаем литературу как свидетельство о нашем мире, или даже нашей ситуации, примиряясь с тем произволом языка, который мы теперь называем «метафорой». Для нас важна эта вроде бы заезженная, затёртая проблема, потому что так, говоря, что «всё есть метафора», мы вправе думать, что вся литература интерпретирует нас. Видимо, в режиме рикёровской «живой метафоры»<sup>7</sup>.

Слово «хочет значить», как говорил Эрнст Кассирер<sup>8</sup>. Наша работа над текстом Фридерики Майрёкер<sup>9</sup> показала нам, что мы всеми силами стараемся проинтерпретировать поэтический текст таким образом, чтобы он говорил нам о нашем мире или нашей исторической памяти, а в конечном счёте о наших, как говорит Ханна Арендт<sup>10</sup>, «приватных местах»: рождении, труде, смерти, любви, измене. Понимая текст, мы нечаянно следим, каким образом текст «понимает нас».

Я определил бы этот момент как главный порок старой герменев-

---

<sup>7</sup> Ricœur P. *La métaphore vive* - Paris: du Seuil, 1975

<sup>8</sup> Cassirer E. *Zur Logik der Kulturwissenschaften. Fünf Studien*. 4. unv. Auflage - Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1980 - S. 13.

<sup>9</sup> Литвинов В.П. Герменевтическая интерпретация «Катыни» Фридерики Майрёкер // Вопросы германистики - вып.V - Пятигорск: Изд. ПГЛУ, 2003 - с. 92-100. Вдумчивый лингвист Вернер Абрахам, проанализировавший детали конструкции этого стихотворения, справедливо заметил, что это «более настроение, чем высказывание». См. Abraham W. *Linguistik der uneigentlichen Rede. Linguistische Analysen an den Rändern der Sprache* - Tübingen: Stauffenburg, 1998 - S. 126-128.

<sup>10</sup> Arendt H. *The Human Condition* - 2d ed. University of Chicago Press, 1998.



тики (т.е. той, что до Дильтея, или даже до Шлейермахера и Кладениуса): понимание и интерпретация текста не полны в себе, они исполняются как понимание и интерпретация нашего мира через значащие формы текста. В религиозной герменевтике мир обязан быть миром-в-Боге, у нас же он - мир как таковой. И здесь предметы понимания начинают множиться. Но я хотел бы настаивать и на обратном утверждении: понимание нас и нашего мира возможно только как понимание текста, свидетельствующего о нас. (Но пусть это будут не только Священные писания!)

Я теперь скажу так (против Романа Яacobсона и всех структуралистов и постструктуралистов, включая Юлию Кристеву): понимаемое есть наш мир, а текст - тот параметр этого мира, который делает мир смысловым, а не только организационным целым. Общество состоит из людей и текстов, и человек в своём общественном и вещественном мире социализован и отекстован, помимо того, что он есть биологическое существо.

Понимаемое есть текст, но **текст как свидетельство о мире**. И, кстати говоря, формы свидетельства могут опережать формы мира, задавая смыслы, для которых ещё нет материального воплощения. Рыцарские турниры, как заметил Хёйзинга, это была ещё и прикладная литература<sup>11</sup>, и аналогичную мысль выражает Хосе Ортега-и-Гассет, говоря, что любовь - это не элементарное влечение, а «скорее литературный жанр»<sup>12</sup>. (Как же не влечение, скажем мы, если мы переживаем его как влечение? Однако не точнее ли сказать, что мы переживаем любовь как любовь? Не «элементарное» влечение, говорит Ортега. От чего зависят различия в переживании любви в Античности, в Средневековье, в XIX веке и в XX веке? От форм социальной жизни; но социальная жизнь - это люди и тексты.)

Но, как сказано, понимаемое множится. Понимающая работа может фокусироваться на тексте, а может - на феномене. Понять феномен любви - значит ли это понять все тексты про любовь? Или всё же - понять формы жизни и «приватных мест» в жизни по ту сторону литературы и всяких прочих текстов? (Или всего лишь понять, во что я влип, полюбив женщину?)

Я здесь обсуждаю **проблему**, нагромождая **материал к размышлению**. (Кто вообще взялся бы сказать, что он разрешил полностью какую-нибудь герменевтическую проблему?)

Я думаю, не будет преувеличением сказать, что «Лейли и Медж-

---

<sup>11</sup> Хёйзинга, цит. пр. с.141

<sup>12</sup> Ortega y Gasset J. Estudios sobre el amor - Madrid: Espasa Calpe, 1966 - p. 53

нун», «Тристан и Изольда», «Ромео и Джульетта» - это не просто интересное чтение, развлекательные сюжеты. Это обогащение нашего духовного опыта через приобщение к истории чувств, отложившейся в литературе. Но это также ещё уроки, которые мы учим, и результаты этого учения мы распространяем на жизнь. Нас при этом не интересует реализм изображения, нас интересует реализм чувства в материи судьбы, причём в большей мере предвосхищающий, проектный реализм, чем отражательный. «Такая любовь достойна человека». «Вот так можно любить». И мотив любви делает сюжеты разными при сходной фабуле; например, любовь может оправдывать Дон-Жуана в противоположность Казанове или Ловеласу.

Обратим внимание на некоторые особенности поэзии романтиков. Читаю для напоминания стихотворение Афанасия Фета «Сияла ночь...». Если мы подойдём к этому произведению с точки зрения прямолинейного реализма, это должно быть очень смешно: «Ты пела до зари, в слезах изнемогая...». Но нам почему-то совсем не хочется смеяться, когда мы относимся к этому тексту как к поэзии. «Вот так можно говорить о любви». «Вот так можно переживать любовь». Описание сцены при этом - не более чем средство, достаточный фон для ассоциаций.

Посмотрим на феномен любви с другого «конца»: мы все знаем, как переживается чувство любви - тяжесть на сердце, музыка в крови, перехватывает горло, дрожат колени, и всё время думаешь о нём, о нём, о нём, и строишь в своём представлении сцены встреч с ним и диалоги, диалоги, диалоги. Известно, какую роль порога играет объяснение в любви: мир радикально меняется, и любовь начинает перехлёстывать через край. Ортега-и-Гассет обсуждает это в какой-то из своих многочисленных бесед о любви: граф Моска в «Пармской обители» Стендаля страдает от ревности, когда его любимая Сансеверина отъезжает в экипаже с Фабрицио. Он думает: если между ними будет обронено какое-нибудь слово, которое «даст подлинное имя» тому, что они чувствуют, тогда последствия не заставят себя ждать. Напомню ещё об известном эксперименте двух поэтов. Генрих Гейне пишет «Sie liebten sich beide, doch keiner wollt' es dem andern gestehn» и завершает стихотворение сентенцией: они оба уже были мертвы, но не знали об этом. Михаил Лермонтов варьирует завершение сюжета: «И смерть пришла, наступило за гробом свиданье, но в мире новом друг друга они не узнали». Чтобы быть реальной и узнаваемой, любящая душа должна высказаться.

Если о гормонах и о сексе можно худо-бедно строить науку, то лю-

бовь как феномен доступна только герменевтике, и проникновение в этот феномен возможно через **тексты любви и тексты о любви**.

Я сначала предполагал подзаголовок к моему докладу «Любовь и другие безразличные вещи». Любовь казалась мне особенно сложным для понимания предметом. Но, в самом деле, предметы понимания по сути - вся совокупность безразличных вещей. И герменевтика в естественных науках (у Мэри Хессе, у Томаса Куна), видимо, появляется тогда, когда возникает забота о судьбе физики и науки; теперь мало знать физику, надо её понимать (акцент Ричарда Фейнмана, которому между прочим принадлежит и афоризм «Любовь, конечно, не наука, но она тоже прекрасна»).

Итак, я даю ещё один ответ на вопрос о понимаемом: **ПОНИМАЕМОЕ - вся совокупность безразличных вещей**. Они представляют собой **актуализированные фокусы в целостности смысла мира**. Здесь, позволю себе заметить, единственное, хотя и существенное оправдание для тезиса Г.П. Щедровицкого, что «понимается всегда ситуация», с которым мне в остальном трудно согласиться (может быть потому, что я ещё и филолог). Если в науке предметы познания множатся по логике последовательных проблематизаций, то в герменевтике, напротив, предметы понимания выхватываются переживанием мира в виде «приватных» ситуаций или их аналогов в культурном творчестве. Среди безразличных вещей могут быть что-то просто непознанное и что-то просто непонятное, - например, димензиональность физического мира у физика или смысл «De ente et essentia» Фомы Аквинского у современного читателя<sup>13</sup>. Это обычный интеллектуальный голод, и он, равно в науке и герменевтике, требует герменевтического понимания.

Но с этим связано свойство герменевтики, отличающее её от науки в негативном отношении: герменевтическая работа никогда не приводит к дефинитивным заключениям. «Небезразличная вещь» растворена в бесконечности смыслового мира, а понимающий герменевт, в отличие от учёного, не имеет методического ограничения на собственное «Я», он себя вводит в дело как потенциально бесконечного, работающего на Другого, тоже потенциально бесконечного. И результат герменевтической работы - сгущение смысла, его наращивание.

Иначе говоря, в герменевтике проблематичен не только «метод» (Гадамер), проблематична и «истина», если то и другое измерять по критериям науки. Но я думаю, у герменевта должны быть собственные критерии, и ему нужна правда о методе и правда об истине. Об исти-

<sup>13</sup> Эта читательская ситуация охарактеризована в моей работе «Респонзивное мышление», которую я намереваюсь опубликовать в Интернете.

не важную правду сказал Альфред Тарский, но его логическую форму надо перевести в выражения здравого смысла: высказывание о факте истинно, если этот факт-объект высказан в нормативных знаках.

Как заметил когда-то Чарлз Сандерс Пирс, «люди и слова взаимно воспитывают друг друга» (men and words reciprocally educate each other)<sup>14</sup>. Люди говорят слову «любовь», что оно должно значить, а слово «любовь» в текстах напоминает людям, как они могут быть людьми.

Итак, человек и текст - это разные предметы понимания, но в этой связи требует специального внимания ещё одна проблема: тексты пишутся людьми для людей, но говорят своим голосом, за которым, кроме интенции текста, можно выявлять интенции читателя и автора. Тексты - это тексты мира, но у каждого текста есть (или, как минимум, был) автор. Каким образом он отпечатывается в тексте? Мы можем посчитать неслучайным, что Х. Арендт среди «приватных мест» человеческого существования упоминала измену. В её опыте переживаний, согласно некоторым свидетельствам, было предательство Мартина Хайдеггера, её любимого мужчины, который даже не пытался спасти любимую женщины от судьбы остальных немецких евреев в 1930 году. Ей помогли другие люди, она эмигрировала в США и уже там прославилась как социальный философ. Она никогда не обвиняла Хайдеггера в предательстве. Но мы недооценим глубину философии Арендт, если скажем, что у неё категория «измена», а тем более категория «прощение» значат именно то, что пережила она сама, а не более глобальное содержание.

Их отношения - очень интересный и постоянно обсуждаемый и варьируемый материал историков, обсуждающих личные судьбы философов в связи с их текстами. Читавшие Хайдеггера достаточно много - знают, что «Бытие и время» по содержанию отличается от всех последующих изысканий Хайдеггера: только здесь он разрабатывает проблемы экзистенции и устройство человеческого бытия. Годы работы над этой книгой совпадают с годами бурного (хотя тщательно скрываемого) романа Хайдеггера с его блестящей ученицей красавицей Ханной. Среди «экзистенциалов» отсутствует любовь, но интерпретаторы иной раз именно это считают характерным для сочинения, которое, может быть, было таким гигантским объяснением в любви. Но их отношения часто определяют как «необъяснимую любовь», потому что такие два человека вроде бы не должны были любить друг друга, а их любовь оказалась любовью на всю жизнь. Умеренный нацист Хайдег-

<sup>14</sup>Writings of Charles Sanders Peirce. A chronological edition. Vol. I, 1857-1866 - Indiana University Press, 1982 - p. 497 (Лекция 11 из курса «Логика научной индукции» в Гарварде).

гер никогда после войны не пытался оправдаться за своё нацистское прошлое, а умеренный сионист Арендт тем не менее приехала после войны в Германию и добивалась, чтобы Хайдеггеру вернули право работать в университетах. Она доказывала, что он «оступился», а он этого не говорил. Но он пропагандировал немецкоязычные версии её работ в Германии, хотя считал, что она совершила философскую измену по отношению к учителю. Он не считал социальную философию достойным занятием, а она уже была автором трактата о тоталитаризме (между прочим, специалисты считают его образцовой работой по этой тематике). Она - еврейка и яростный антифашист, он - умеренный антисемит с неизжитым нацистским прошлым. И - несомненная любовь на всю жизнь. Об этом пишут романисты, историки и философы (в том числе в России Нелли Мотрошилова<sup>15</sup>), и несомненно будут писать ещё много. И это будут «анализы случая», case studies, которые сегодня и в ближайшее время будут давать материал для **герменевтики любви**.

В заключение - необязательное приложение к докладу. Почему Г.П. Щедровицкий «никогда не мог» читать «Дон-Кихота», а «Мастера и Маргариту», как он говорил, «всегда с удовольствием»? Смотрите его выступление в нашем семинаре «Герменевтика», оно переиздаётся<sup>16</sup>. Его известное объяснение гласит, что понимание всегда - понимание ситуации, и текст должен говорить этому человеку про это. Ну да, Щедровицкий - «мастер», много лет под колпаком НКВД (КГБ), и у него есть своя «Маргарита», Галина Алексеевна Давыдова, которая была с ним в самое трудное для него время, и потом всю жизнь. Это мне понятно. Мне непонятно, почему читательский понимающий интерес у некоторых людей, как у Г.П., не распространяется за пределы ситуации жизнедеятельности, почему не оформляются чисто интеллектуальные или чувственные ситуации за пределами того, во что я упёрся в моей жизни.

Мы всю свою жизнь, если мы мыслящие люди, пристраиваем как последовательность ситуаций, и всё время должны эти ситуации понимать. Верно, что мы используем тексты как смысловые артикуляторы наших ситуаций. Но почему мы не должны признать за собой право (или даже обязанность!) переживать как ситуацию нашу встречу с текстом, которому нужны мы (более, чем он нужен нам)?

---

<sup>15</sup> Мотрошилова Н.В. Мартин Хайдеггер и Ханна Арендт: бытие - время - любовь - М.: Академический проект Гаудеамус, 2013.

<sup>16</sup> Щедровицкий Г.П. Мышление - понимание - рефлексия - М.: Изд. «Наследие ММК», 2005 - с. 741.

## **3. ПРИЛОЖЕНИЯ**

## САМОРЕКЛАМА ДЛЯ САРАФАННОЙ ВИКИПЕДИИ

Уже дважды молодые коллеги спрашивали, не хочу ли я написать о себе. Я не могу отослать их к российской Википедии, в которой данные обо мне отторгаются, поскольку я печатаюсь в периферийных издательствах, а мой Пятигорский лингвистический университет «не относится к ведущим вузам страны».

Я никогда не менял свой университет на другой, как не менял свою страну и свою жену. Можно считать это моей несовременностью или даже ограниченностью. И хотя я иногда публиковался в значительных издательствах, я всегда предпочитал те, где редакторы и корректоры не вмешиваются в мои тексты, зачастую вообще не согласуя со мной свои «улучшения». Я хотел быть сам своим редактором и корректором; признаю, что это иной раз не шло на пользу моим работам, и когда в издательстве делали электронный набор с моей машинописи, а я не успевал его проверить, впору было плакать над собственными текстами.

Но почему я оправдываюсь? Информация обо мне есть на сайте Инны Воробей [inyaz-surgut.ru](http://inyaz-surgut.ru) / наука / В.П. Литвинов, и там же множество моих работ в открытом доступе, а также список моих публикаций. В последующем тексте «про Литвинова» номера моих текстов даются по этому списку.

\* \* \*

Виктор Петрович Литвинов начинал свою научную деятельность как германист-исследователь немецкого языка под неформальным руководством Т.М. Недеялковой, его кандидатская диссертация об «аналитических глагольных лексемах» завершена в 1970 **(6)** и защищена в 1972 году **(9)**. Но ещё до завершения кандидатского исследования он опубликовал в авторитетном немецком журнале статью о двойных перфектных формах **(3)**. Систематическая разработка проблемы «двойных перфектных образований» в дальнейшем была продолжена вместе с его аспирантом В.И. Радченко, их совместная книга опубликована тюбингенским издательством Штауффенбург в серии «Studien zur deutschen Grammatik» **(78)** и стала стимулом для немецких грамматистов к дальнейшей разработке этой проблематики в ряде монографий и множестве статей. Вообще теория перфектных конструкций в языках может считаться реальным вкладом Литвинова в теоретическую грамматику; кроме двух названных работ см. **(22, 36, 99, 112, 135, 139)**. Немецкая академическая грамматика ДУДЕН активно цитирует его, начиная с грамматики 2009 года.

Литвинов проводил независимые исследования по германским, славянским, балтийским и тюркским языкам, новогреческому, а также, совместно со своим тоголезким аспирантом Кофи Агбоджо, по африканскому языку эве. Вместе с Агбоджо он участвовал в программах Ленинградской типологической группы (50, 52/77, 57/96), написав, помимо прочего, ряд работ совместно с корифеем ленинградской типологии В.П. Недялковым (47, 51, 69/84). Их работа в программном издании Оксфордского университета (69) получила высокую оценку разных рецензентов. Литвинов подготовил более 20 кандидатов наук по лингвистике, исследовавших, помимо немецкого и английского, также туркменский, японский, чеченский и эве языки. В современной лингвистике Литвинова считают специалистом по семантике и типологии языков. См. его характерную монографию «Типологический метод в лингвистической семантике» (43).

В России В.П. Литвинов известен прежде всего как методолог – в смысле общей «методологии мышледеятельности», основанной Г.П. Щедровицким. Уже в своих ранних лингвистических работах Литвинов характерным образом акцентировал вопрос, как, какими средствами может решаться поставленный вопрос, и был внимателен к определению главного вопроса, который должен был отвечать критерию проблемности, т.е. автор был стихийным методологом и стихийным феноменологом. Естественно, что, познакомившись с Щедровицким, Литвинов активно воспринял его влияние, пребывая при этом в стороне от основного течения методологических программ. Он называл Щедровицкого своим учителем, хотя запомнил реплику ГП: «Не называй меня учителем. Мы с тобой просто нашли друг друга». Продолжение этого разговора, по воспоминанию Литвинова: «Правда, я не прошёл обучения ни в одном из твоих семинаров, но...», на что Щедровицкий ответил: «Тебе это и не нужно. Ты же родился методологом». Если сегодня попытаться определить особенность позиции Литвинова в методологическом движении, наиболее точным определением её будет, видимо, «конструктивная герменевтика». Это выражение ввёл и использует сам Литвинов с начала 2000 годов.

Несомненно, вклад Литвинова в гуманитарную философию (методологию, феноменологию, герменевтику) является более значительным, чем его результаты в лингвистике, хотя своё продвижение к будущим принципиальным решениям он начал с критического осмысления лингвистического разума. Как большинство университетских учёных, Литвинов был и теоретиком своего предмета, и методистом его преподавания. Но он обратил внимание на то, что все определе-



ния языка в теоретической лингвистике, как и в философии языка, оказываются неадекватными в применении к особой действительности иностранного языка. Будучи в это время (с 1975 года и далее) председателем Секции иностранных языков в Северо-Кавказском научном центре Высшей школы, Литвинов выступает с замыслом «теории иностранного языка» (ТИЯ), которую вместе с группой энтузиастов (О.В. Карасёвым, Т.Н. Снитко и другими) достаточно скоро переосмысливает как «феноменологию иностранного языка» (также «ксенолингвистику», англ. «xenolinguistics»). См. публикации Литвинова (**32, 42, 62, 64, 129, 133**). Тогда было понято, что феномен «иностранного языка» принципиально отличен от феномена «язык», и понадобилась разработка онтологических картин одного и другого феномена. Работу по «онтологии иностранного языка» опубликовал О.В. Карасёв в тематическом сборнике «Пути к теории иностранного языка», составленном Литвиновым для скромного университетского издания (**61**). Заслуживает упоминания характерный факт, что подборка материалов этой рабочей группы поначалу была с большим интересом принята редакцией научного журнала СКВЦШ, но не пошла в публикацию, поскольку все тексты этого набора получили отрицательные отзывы внешних рецензентов. Сообщество ещё не привыкло к мысли, что есть разные мышления, и что в языковедческом мышлении могут быть существенные инновации. Литвинов же сделал это обстоятельство основой целого спектра новых проблематизаций. В частности, мышление не одинаково в грамматике теоретической, нормативной и учебной, как показано в статье (**15**) и систематически разработано с анализом истории грамматических учений в монографии «Метаграмматический трактат» (**80**).

Эти исследования неизбежно должны были получить предметное расширение, которое Литвинов осуществил в проблемном семинаре «Полилогос», который он создал в Тольяттинской академии управления (в то время называвшейся «Международной академией бизнеса и банковского дела») и обобщил в принципиальной монографии «Полилогос: проблемное поле» (**76**). В этой книге схематизированы формы мысли в познающем (гносеология), понимающем (герменевтика), проективном (инженерия, социальное проектирование) и историческом мышлении, а также предложены подходы к научной типологии мышления. Попутно возникали нетривиальные проблемы проектирования знания, теории проекта, понимания как возможного научного объекта и, наконец, мышления как практики. Эти вопросы впоследствии разрабатывались, и результаты публиковались. См. (**60, 68/106, 70, 72, 87, 88, 97, 104, 108, 122, 136, 137, 140, 145, 160, 161**). Реша-

лись также вопросы о мышлениях, не оснащённых культурными «мега-машинами», в частности, ситуационном, философском и поэтическом мышлении (соотв. **(73, 108/116, 121)**). Обсуждались конструкции мысли отдельных корифеев науки и философии, например, в монографиях о мышлении Н. Хомского **(83)** и Г.П. Щедровицкого **(103, 105, 128)**.

Можно ли охарактеризовать вклад Литвинова в современное мышление, перечислив то, что сделал именно он в отличие от всех предшествующих прецедентов? Попробуем дать это списком:

Литвинов ввёл схему «феномена» и показал перспективу формализации феноменологического мышления.

Литвинов ввёл понятие «пространства содержания» на базе трёх-плоскостной схемы ортогональных предметных полаганий (гетеротопных и гетерохронных «действительностей», с их интерпретацией через взаимное отображение).

Литвинов привёл к научной форме традиционное понятие «герменевтического круга» (на основе движения интерпретатора между плоскостями в «пространстве содержания»). Понятие «герменевтической вилки» также впервые употреблено им (в монографии о типологическом методе).

Литвинов ввёл понятие «полилога» (в смысле множественного логоса, его не надо путать с «полилогом» в теориях диалога). В монографии «Полилогос» схематизированы разные «интеллектуальные практики» или, соответственно с необходимым смысловым сдвигом, «мышления».

Литвинов последовательно осуществляет конструктивизацию герменевтики, как системы явленных «на досках» интерпретаций. Понятие «конструктивной герменевтики» предложено им также как возможное переосмысление методологии, см. в частности **(125)**.

Литвинов – самый значительный критик лингвистического разума на конструктивно-герменевтической основе. Ему принадлежит идея многих лингвистик и гипотеза о лингвистике как особой рациональности (в развитие философии Ч. Пирса и программы linguistic turn в британском постпозитивизме).

Литвинов – организатор и главный разработчик программы «феноменологии иностранного языка», пятигорской версии ксенолингвистики.

Литвинов осуществил феноменологическую редукцию «мышления» (в развитие поисков Щедровицкого в этой области с учётом его мысли о «полихронности» актуального мышления), см. особенно его обширный доклад «Понятое мышление», опубликованный методологическим альманахом «Кентавр» **(122)**.

Литвинов показал интересные образцы мышления как практики, в частности в «Работе логоса, предъявленной в размышлениях», см. **(116)**, но, может быть, особенно показательно в статье «Действительность Бога» **(162)**, где мысль автора движется в диалогах со «свидетелями мира логоса», осуществляя на каждом шаге практически значимый сдвиг понятия. Здесь учёный создаёт не «тексты знания», а «тексты мышления» (различие, введённое Литвиновым, в частности, для интерпретации философского мышления). Исследователь делает собственную мысль полигоном для исследования проблемы мышления, несомненно главного предмета его научного интереса.

Начиная с 2007 года, Литвинов сосредоточился на проблематике перепостроения университетского дела. Возглавив Группу проектирования инноваций в Пятигорском государственном лингвистическом университете, он поставил на службу этой новой задачи свои мысли о «гуманитарных технологиях» **(92)**, свой опыт работы с тольяттинскими реформаторами вуза (А.П. Зинченко и др.) и свой методологический и герменевтический багаж. Монография **(144)** обобщает работу Группы в интерпретации её руководителя.

Центральная мысль в основе проекта будущего университета – выявление главного противоречия в современном университете (им оказывается разрыв между установками на выращивание учёных и подготовку профессиональных практиков) и задание опосредствующего звена-«объекта» для частей противоречия. В качестве такового осуществлено полагание понятия «гуманитарные технологии» и программа его реализации в материале организационных форм «университета четвёртого поколения» (если господствующий «гумбольдтовский университет» считать университетом третьего поколения в европейском образовании).

В работе над этим проектом проведено уточнение понятия социальной инноватики (с отдельной публикацией руководителя о «реалистическом идеализме инновационного мышления» **(130)**), а далее переопределение принципиальных понятий: практики (в том числе с различением компетенций в учении и в практике после университета **(150)**), науки (с важнейшей схемой особого феномена университетской науки **(144, стр.177)**), методики, информации и знания, содержания образовательного дела, гуманитарной практики и гуманитарной технологии, идеологии образовательных программ. Попутно поставлены вопросы о проектировании организационных форм вуза (кафедры, проблемных групп, публикаций и пр.), о соотношении подотчётности и ответственности автономного вуза, и другие. См. также работы

Литвинова (149, 155, 156). На новой кафедре социальной инноватики в ПГЛУ Литвинову был поручен курс введения в методологию, его учебное пособие «Введение в методологию. Материалы к университетскому курсу» опубликовано (153) и широко рекламируется в Интернете конкурирующими издательствами. Видимо, это сейчас – самая читаемая книга Литвинова.

Можно продолжить список мыслительных новаций, составляющих вклад Литвинова в научную культуру с учётом его проектной деятельности:

10. Понятие «прицельного научного поиска».

11. Уточнение и формализация понятия «гуманитарной технологии».

12. Оригинальный проект «университета четвёртого поколения».

\* \* \*

Я возвращаюсь к изложению от первого лица. Я не могу надёжно смоделировать «автора статьи о В.П. Литвинове», тем более не могу от себя, в форме «Я», рассказывать о «моём вкладе в науку». Разумеется, там могут быть другие акценты, и частично отличное содержание, и иное перечисление новаций в составе «вклада». Другой автор (другие авторы в моём воображении) мог (могли) бы говорить, например, так: «Если вы задумались над вопросом о герменевтике мышления, не премините принять к сведению книгу Литвинова о философии Щедровицкого».

Или: «Если вы запали на модную программу “радикального конструктивизма” на Западе, рекомендуем Вам более полнокровные версии конструктивизма в российской философии Щедровицкого и Литвинова».

Или: «Если вы считаете, что Литвинов плохо продолжает дело Щедровицкого, задумайтесь, не делает ли Литвинов собственное дело, отличное от дела методологов».

И этот «другой автор» может думать не о философии (методологии), а о семантике (лингвистике) и говорить, например, так:

«Если вы всё ещё спрашиваете о “самой лучшей” (или: “современной”, или, прости Господи, “правильной”) лингвистике, позвольте работам Литвинова сделать вас более трезвыми; думайте, в частности, об отношениях знания и деятельности и о мышлении языковеда как практике».

Или: «Литвинов, конечно, внёс важнейший вклад в когнитивную науку, показав на убедительных схемах действительность значения,

понимания, содержания, смысла, интенции речевого акта, а также мышления, которое он отличал от простого думания. Важно и его обновлённое понятие логоса. Но почему он критикует когнитивизм?».

Если мои фантазии производят впечатление пустого бахвальства, друзья, будьте снисходительны. Это же всего лишь сарафанная Википедия (правда, институт, уже некоторым образом существующий в Сети без этого названия).

## СПИСОК НАУЧНЫХ ТРУДОВ В.П. ЛИТВИНОВА

1. К вопросу об аналитических глагольных сочетаниях // Некоторые проблемы структурно-семантического изучения современного немецкого языка. Пятигорск: ПГПИИЯ, 1968. С. 75-86.
2. К вопросу о функциях аналитических глагольных сочетаний в немецком языке // Материалы межвузовской научной конференции по вопросам германо-романского языкознания. Пятигорск: ПГПИИЯ, 1967. С. 88-89.
3. Die doppelte Perfektstreckung im Deutschen // Zeitschrift für Phonetik, Sprachwissenschaft und Kommunikationsforschung (Berlin). Bd. 22, H. 1, 1969. S. 16-24.
4. Идеальный артикль. Опыт полевой трактовки детерминативов // Тезисы VII межвузовской научной конференции по романско-германскому языкознанию. Пятигорск: ПГПИИЯ, 1970. С. 87-89.
5. Функции аналитических глагольных лексем в немецком языке // Вопросы немецкой филологии. Ставрополь: СГПИ. 1970. С. 40-69.
6. Грамматическая характеристика аналитических глагольных лексем в современном немецком языке: дисс. ... канд. филол. наук. Пятигорск: ПГПИИЯ, 1970. 349 с. (машинопись).
7. Аналитические лексемы и фразеология // Некоторые вопросы немецкой филологии. Пятигорск: ПГПИИЯ, 1971. С. 156-170.
8. О понятии «артиклевый язык» // Тезисы докладов по итогам научно-исследовательской работы преподавателей института 1971 г. Пятигорск: ПГПИИЯ, 1972. С. 98-100.
9. Грамматическая характеристика аналитических глагольных лексем в современном немецком языке: автореф. дисс. ... канд. филол. наук. М.: МГПИИЯ им. Мориса Тореза, 1972. 25 с.
10. Семантические совмещения // Вопросы грамматики и стилистики немецкого языка. Ставрополь: СГПИ, 1972. С. 112-125.
11. О статусе лингвистического факта // Исследования по теории немецкого языка. Пятигорск: ПГПИИЯ, 1973. С. 3-12.
12. О выходе грамматики в систему текста (Контексты артикля) // Лингвистика текста. Материалы научной конференции. Часть 1. М.: МГПИИЯ им. М. Тореза, 1974. С. 172-176.
13. набросок конкретного анализа слова: нем. Ausdruck // Структура словаря и вопросы словообразования германских языков. Ред. Б.В. Пупченко. Пятигорск: ПГПИИЯ, 1975. С. 63-69.

14. Проблема теории семантики в свете семантических парадоксов // Проблемы семантического синтаксиса. Ред. Н.Ф. Иртеньева. Пятигорск: ПГПИИЯ, 1975. С. 75-86.
15. Учебная грамматика и её отношение к грамматике теоретической и нормативной // Вопросы теории и методики преподавания немецкого языка на старших курсах. Пятигорск: ПГПИИЯ, 1975. С. 116-131.
16. Проблема лингвистической относительности // Известия Северо-Кавказского научного центра высшей школы. Серия «Общественные науки» (Ростов-на-Дону). 1977. № 3. С. 51-56.
17. Вербализация проблемы в научной деятельности // Логика научного поиска. Тезисы докладов к всесоюзному симпозиуму. Часть 2. Свердловск: УНЦ, 1977. С. 69-72.
18. Заметки о переводимости // Исследования по синтаксису и стилистике современного немецкого языка. Ред. Л.Г. Фридман. Пятигорск: ПГПИИЯ, 1977. С. 64-70.
19. Артикул как слово // Структура словаря и вопросы словообразования германских и романских языков. Ред. Б.В. Пупченко. Пятигорск: ПГПИИЯ, 1977. С. 69-72.
20. О трактовке переходных предикатов у У. Чейфа // Проблемы семантического синтаксиса английского языка. Ред. Н.Ф. Иртеньева. Пятигорск: ПГПИИЯ, 1977. С. 51-59.
21. Кардинальные аспектуальные семы и аспектуальность немецкого глагола // Проблемы лингвистической семантики. Ред. А.К. Драганов. Грозный: ЧИГУ, 1977. С. 88-108.
22. Периферия категории времени в немецком языке (Давление семантики на грамматику) // Проблемы семантического синтаксиса. Ред. Н.Ф. Иртеньева. Пятигорск: ПГПИИЯ, 1978. С. 33-41.
23. Переход к двуязычию в процессе освоения иностранного языка и значение курса сравнительной типологии // Психологические и лингвистические аспекты проблемы языковых контактов. Ред. А.А. Залевская. Калинин: Изд-во Калининского ГУ, 1978. С. 8-17.
24. Стратегия прицельного научного поиска // Комплексный подход к научному поиску: проблемы и перспективы. Краткие тезисы Всесоюзного симпозиума. Часть 1. Свердловск: УНЦ, 1979. С. 107-109.
25. III теоретический семинар языковедов Северного Кавказа по проблемам общего языкознания // Известия Северо-Кавказского научного центра высшей школы. Общественные науки

- (Ростов-на-Дону). 1979. № 3. С. 92-94.
26. Лингвистическая теория для учителя иностранного языка // Теория и практика профессиональной подготовки учителя иностранного языка. Ред. О.В. Сухих. Пятигорск: ПГПИИЯ, 1980. С. 8-16.
  27. К проблеме «быть»/«иметь» в трактовке Н.Л. Халдояниди // Семантико-синтаксическая организация предложения и текста. Ред. А.К. Драганов. Грозный: ЧИГУ, 1980. С. 108-117.
  28. К проблеме семантического факта // Семантика и структура предложения и текста. Ред. А.К. Драганов. Грозный: ЧИГУ, 1981. С. 136-141.
  29. Сомнения относительно «содержательной программы высказывания» // Тезисы VII Всесоюзного симпозиума по психолингвистике и теории коммуникации – АН СССР, Институт языкознания. М., 1982. С. 96-98.
  30. Основные контрасты германо-романского и тюркского языкового строя // Проблемы конфронтативной лингвистики. Тезисы конференции. Баку: АГПИИЯ, 1983. С. 19-21.
  31. Грамматические рассуждения об абстрактности общенаучного текста // Проблемы лингвистического анализа текста и лингводидактические задачи (Тезисы к 7-му зональному научному совещанию...). Часть 1. Иркутск: ИГПИИЯ, 1983. С. 114-116.
  32. Знание и деятельность в языковедении (к разработке теории иностранного языка) // Известия Северо-Кавказского научного центра высшей школы. Общественные науки (Ростов-на-Дону). 1983. № 3. С. 44-48.
  33. Свойства эnumerативных предикатов // Прагматика и семантика синтаксических единиц. Ред. И.П. Сусов. Калинин: Изд-во Калининского ГУ, 1984. С. 54-62.
  34. Противоречия профессионального сознания // Системный анализ практической подготовки и профессиональной деятельности специалиста. Труды межвузовского научно-технического семинара. Харьков: ХИСИ, Деп. № 4416 ВНИИИС'а, Москва, 1984. С. 82-103.
  35. Содержание и объём синтаксического значения // Проблемы синтаксиса словосочетания и предложения. Ред. Л.Г. Фридман. Пятигорск: ПГПИИЯ, 1984. С. 176-185.
  36. Движение теоретического понятия (на материале «перфекта») // Методологические и философские проблемы языкознания и литературоведения. Сост. А.Т. Москаленко. Новосибирск: Наука,



1984. С. 176-185.
37. (Ред.) Вопросы метода в сравнительно-типологическом исследовании языков. Пятигорск: ПГПИИЯ, 1984.
  38. Метод. Общая концепция и следствия для сравнения языков // Вопросы метода в сравнительно типологическом исследовании языков. Пятигорск: ПГПИИЯ, 1984. С. 4-25.
  39. Modus relativus балтийских языков с типологической точки зрения // Tarptautinē baltistu konferencija... Международная конференция балтистов... Тезисы докладов. Вильнюс: ВГУ, 1985. С. 181-183.
  40. Рецензия на: Типология результативных конструкций. Ред. В.П. Недялков. Л.: Наука, 1983 // Сравнительно езиковедение (София). 1985. Т. 10. № 4. С. 93-95 [на болгарском языке].
  41. Профессионально-педагогическая направленность теоретических языковых дисциплин в системе методической подготовки студентов на факультетах иностранных языков // Повышение качества профессиональной подготовки студентов – будущих учителей иностранного языка. М.: МГПИ им. В.И. Ленина, 1985. С. 3-6.
  42. О возможности «теории иностранного языка» // Известия Северо-Кавказского научного центра высшей школы. Общественные науки (Ростов-на-Дону). 1986. № 1. С. 72-76.
  43. Типологический метод в лингвистической семантике. Ростов-на-Дону: Изд-во Ростовского ГУ, 1986. 168 с.
  44. Технический подход к языковому средству в текстах Мартина Хайдеггера // Реализация языковых единиц в тексте. Свердловск: СГПИ, 1986. С. 82-87.
  45. Отношения системы и среды в моделировании функционально-семантических полей // Функционально-типологические проблемы грамматики. Тезисы конференции... Вологда, 1986. С. 75-76.
  46. (Ред.) Характерологические исследования по германским и романским языкам. Пятигорск: ПГПИИЯ, 1988.
  47. (с В.П. Недялковым) Диалог о лингвистической характерологии // Характерологические исследования по германским и романским языкам. Пятигорск: ПГПИИЯ, 1988. С. 3-26.
  48. (с Т.Н. Снитко) Номинализация и номинация. Пятигорск, 1988. Деп. в ИНИОН № 33936. 55 с.
  49. О составе категорий глагола в языке эве // Язык в Африке. Лингвистические проблемы современной африканистики. Вып. 1 –

- АН СССР, Институт Африки. М., 1988. С. 170-176.
50. (with K. Agbodjo) Resultative in Ewe // *Typology of Resultative Constructions* / Ed. by V.P. Nedjalkov. Amsterdam and Philadelphia: John Benjamins, 1988. P. 231-237.
  51. (mit V.P. Nedjalkov) Resultativkonstruktionen im Deutschen – Tübingen: Gunter Narr, 1988 – XI +230 S. (Studien zur deutschen Grammatik. 34).
  52. (с К. Агбоджо) Выражение множественности действий в языке эве // *Типология итеративных конструкций*. Ред. В.С. Храковский. Л.: Наука, 1989. С. 105-110.
  53. *Der Modus relativus baltischer Sprachen aus typologischer Sicht* // *Baltistica* (Vilnius). Bd. 25, n. 2, 1989. S. 146-155 – Резюме на русском языке, с. 155.
  54. Научный смысл типологии // *Всесоюзная конференция по лингвистической типологии*. Тезисы – Институт языкознания АН СССР. Л., 1990. С. 96-98.
  55. К структуре речевого события // *Прагматическая интерпретация и планирование дискурса*. Тезисы конференции. Пятигорск: ПГПИИЯ, 1991. С. 64-66.
  56. *Контуры герменевтики* // *Вопросы методологии* (Москва). 1991. № 1. С. 89-96.
  57. (с К. Агбоджо) Повелительные предложения в эве // *Типология императивных конструкций*. Ред. В.С. Храковский. Л.: Наука, 1992. С. 213-218.
  58. (с Г.П. Щедровицким и др.) [Дискуссия] Герменевтика: проблемы исследования понимания // *Вопросы методологии* (Москва). 1992. № 1-2. С. 97-122.
  59. *Культурное пространство педагогики и педагогическая культура учителя* // *Формирование профессиональной личности учителя*. Тезисы докладов XI психолого-педагогических чтений вузов Северного Кавказа. Пятигорск: ПГПИИЯ, 1992. С. 71-73.
  60. *Рефлексивная задержка как вход в пространство содержания* // *Понимание и рефлексия*. Материалы Первой и Второй герменевтических конференций. Том 2. Тверь: Изд-во Тверского ГУ, 1992. С. 14-18.
  61. (Ред.) *Пути к теории иностранного языка*. Пятигорск: ПГЛУ, 1992.
  62. *Введение в проблему «теории иностранного языка (ТИЯ)»* // *Пути к теории иностранного языка*. Пятигорск: ПГЛУ, 1992. С. 8-30.
  63. *Герменевтический поворот в лингвистике?* // *Современные лингвистические парадигмы*. Тезисы конференции. Иркутск:

- ИГПИИЯ, 1993. С. 70-72.
64. (с Н.В. Барышниковым и др.) Круглый стол «Вопросы методики и журнал “Иностранные языки в школе”» // Иностранные языки в школе (Москва). 1993. № 1. С. 70-74.
  65. Герменевтика одного слова: нем. Gretchenfrage // Понимание и рефлексия. Материалы Третьей Тверской герменевтической конференции. Часть 2. Тверь: Изд-во ТГУ, 1993. С. 37-45.
  66. Феномен содержания // Вопросы методологии (Москва). 1994. № 3-4. С. 22-28.
  67. Владимир Высоцкий – аналитик советского менталитета (экспозиция методологической проблемы) // Советский менталитет. Тезисы конференции. 1-й вып. Армавир: АГПИ, 1994. С. 37-38 (откорректированный вариант: <http://mediaplanet.ru/bibliography – articles – 1994>).
  68. Владимир Высоцкий – аналитик советского менталитета // Советский менталитет: социальные этюды. Армавир: АГПИ, 1995. С. 52-61 (откорректированный вариант: <http://mediaplanet.ru/bibliography – articles – 1995>).
  69. (with V.P. Nedjalkov) The St Petersburg / Leningrad Typology Group // Approaches to Language Typology. Ed. by M. Shibatani and Th. Bynon. Oxford: Clarendon Press, 1995. P. 217-271.
  70. Герменевтика и социология в прагматической теории речевых актов // Вопросы методологии (Москва). 1996. № 1-2. С. 70-74.
  71. Культурный шлейф языкового значения // Этнос. Культура. Перевод. Тезисы конференции. Пятигорск: ПГЛУ, 1996. С. 21-23.
  72. Структура герменевтического факта (к проблеме фактичности смысла) // Вестник Пятигорского государственного лингвистического университета. 1996. № 1. С. 36-46.
  73. Полилогическое определение языковой ситуации // Мир на Северном Кавказе через языки, образование, культуру. Материалы конгресса... Симпозиум 2: Языковая ситуация... Пятигорск: ПГЛУ, 1996. С. 187-189.
  74. Необязательные интерпретации. Об 11-м тезисе Маркса // Понимание менталитета и текста. Ред. Г.И. Богин. Тверь: Изд-во ТГУ, 1996. С. 161-169.
  75. Экспромт по поводу афронта Льва Шестова против «понимания» // Грани гуманитарного образования (идеи, методы, решения). Ред. В.В. Лазарев. Пятигорск: ПГЛУ, 1997. С. 124-129.
  76. Полилогос: проблемное поле. Опыт 1 и 2. Тольятти: Изд-во Международной академии бизнеса и банковского дела, 1997. 180 с.

77. (with K. Agbodjo) The Expression of Verbal Plurality in Ewe // Typology of Iterative Constructions. Ed. by V.S. Xrakovskij. München and Newcastle: Lincom Europa, 1997. P. 189-202 (перевод № 51) – / 2d ed. 1999.
78. (mit V.I. Radčenko) Doppelte Perfektbildungen in der deutschen Literatursprache. Tübingen: Stauffenburg, 1998. X + 239 S. (Studien zur deutschen Grammatik. 55).
79. Язык как эйреногенный фактор // Мир на Северном Кавказе через языки, образование, культуру... Второй международный конгресс... Симпозиум III: Языковые контакты... Часть 2. Пятигорск: ПГЛУ, 1998. С. 112-128.
80. Метаграмматический трактат. Пятигорск: ПГЛУ, 1998. IV + 216 с.
81. Предикаты с глаголами понимания и их номинализации. 1-2 // Атриум. Серия «Филология» (Тольятти). 1998. № 2. С. 36-40; 1999. № 1. С. 42-48.
82. Понятие дискурса у Мишеля Фуко // Вопросы германской филологии. Вып. 1: Юбилейный сборник научных трудов кафедры немецкой филологии. Пятигорск: ПГЛУ, 1999. С. 7-20.
83. Мышление Ноама Хомского. Лекции по спецкурсу. Тольятти: Изд-во Международной академии бизнеса и банковского дела, 1999. 118 с.
84. (with V.P. Nedjalkov) The St Petersburg / Leningrad Typology Group // Approaches to Language Typology. Ed. by M. Shibatani and Th. Bynon. Paperback edition. Oxford University Press, 1999. P. 217-271 (Reprint of n. 69).
85. Актуальность педагогики и новый университет // Атриум. Серия «Педагогика» (Тольятти). 1999. № 1. С. 18-20.
86. Homo grammaticus (лейтмотив с вариациями на темы философской антропологии) // Горизонты гуманитарного знания. Отв. ред. Ю.С. Давыдов. Пятигорск: ПГЛУ, 1999. С. 44-55.
87. О лингвистическом основании социальных наук. Сообщения I-IV // Вестник Пятигорского государственного лингвистического университета. 1998. № 3. С. 10-14; 1999. № 2. С. 54-58; 1999. № 3. С. 34-37; 1999. № 4. С. 13-18.
88. Феноменология текста // Вопросы германистики. Вып. II: Юбилейный сборник научных трудов кафедры немецкой филологии. Пятигорск: ПГЛУ, 2000. С. 153-164.
89. (с Н.Л. Халдояниди) Статья-рецензия на: H. Wegener, Hrsg. Deutsch kontrastiv. Typologisch-vergleichende Untersuchungen zur deutschen Grammatik. Tübingen: Stauffenburg, 1999 / SDG. 59

- // Вестник Пятигорского государственного лингвистического университета. 2000. № 3. С. 90-94.
90. Схематический фрейм для обсуждения проблемы менеджера коммуникации // Коммуникационный менеджмент. Ред. Ю.Б. Грязнова. Тольятти: Изд-во Международной академии бизнеса и банковского дела, 2000. С. 113-114.
  91. Содержание идеи и возможности реализации специальности «коммуникационный менеджмент» (наброски к проекту и комментариям) // Коммуникационный менеджмент. Ред. Ю.Б. Грязнова. Тольятти: Изд-во Международной академии бизнеса и банковского дела, 2000. С. 115-135.
  92. Мысли к обсуждению проблематики гуманитарных технологий // Атриум. Серия «Педагогика» (Тольятти). 2001. № 2. С. 64-73.
  93. Актуальность атеизма // Мир на Северном Кавказе через языки, образование, культуру. Тезисы докладов III Международного конгресса 18-21 сентября 2001 г. Симпозиум III: Культурология... Симпозиум IV: Конфессии Северного Кавказа. Пятигорск, 2001. С. 93-94.
  94. О немецких предикатах типа ...war tanzen // Вопросы германистики. Вып. III. Юбилейный сборник научных трудов кафедры немецкой филологии. Пятигорск: ПГЛУ, 2001. С. 104-113.
  95. Рецензия на: Tense-Aspect, Transitivity and Causativity. Essays in honour of Vladimir Nedjalkov / Ed. by W. Abraham and L. Kulikov. Amsterdam, Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 1999. XXXIII + 359 p. // Вопросы языкознания (Москва). 2001. № 6. С. 154-156.
  96. (with K.O.Agbodjo) The Imperative in Ewe // Typology of Imperative Constructions. Ed. by V.S. Xrakovskij. München: Lincom Europa, 2001. P. 390-403 (перевод № 56).
  97. Дедукция категорий как металогическая проблема // Вестник Пятигорского государственного лингвистического университета. 2002. № 2. С. 62-65.
  98. Zu Werner Abrahams Poetik (Rezension und kritisch-analytische Würdigung) // Вестник Пятигорского государственного лингвистического университета. 2002. № 3. С. 49-52.
  99. Ergänzungen zu den doppelten Perfektbildungen in der deutschen Literatursprache // Вопросы германистики. Вып. IV. Пятигорск: ПГЛУ, 2002. С. 91-106.
  100. Методические рекомендации студенту специалитета факультета немецкого языка по написанию дипломной/квалификацион-

- ной работы по лингвистике. Пятигорск: ПГЛУ, 2002. 10 с.
101. Два великих симулякра: meaning, cognition // Университетские чтения – 2003. Часть II. Пятигорск: ПГЛУ, 2003. С. 23-24.
  102. Герменевтическая интерпретация «Катыни» Фредерики Майр-рёкер // Вопросы германистики. Вып. V. Пятигорск: ПГЛУ, 2003. С. 92-100.
  103. Мышление по поводу языка в традиции Г.П. Щедровицкого // Познающее мышление и социальное действие. Наследие Г.П. Щедровицкого в контексте отечественной и мировой философской мысли. Отв. ред. Н.И. Кузнецова. М.: Ф.А.С.-медиа, 2004. С. 248-305. Электронная версия ШКП: <http://www.shkp.ru/lib/archive/humanitarian/5/7>.
  104. Коммуникативное отношение «человек ↔ текст» (о чтении «Фауста» Гёте) // Вопросы германистики. Вып. VI. Пятигорск: ПГЛУ, 2004. С. 83-96.
  105. [Вводная статья] Демистификация знака // Г.П. Щедровицкий. Знак и деятельность. Книга 1. Структура знака: смыслы, значения, знания – Москва: Издательская фирма «Восточная литература» РАН, 2005. С. 7-30.
  106. Феномен содержания // Методология: вчера, сегодня, завтра. Том 1. М.: Школа культурной политики, 2005. С. 121-132 (Переиздание № 66).
  107. (с Г.П. Щедровицким и др.) [Дискуссия] Герменевтика: проблемы исследования понимания // Г.П. Щедровицкий. Мышление, понимание, рефлексия. М.: Изд-во «Наследие ММК», 2005. С. 732-769 (Переиздание № 57).
  108. Работа логоса, предъявленная в размышлениях [Две лекции] // Кентавр. Методологический и игротехнический альманах. Вып. 37, декабрь 2005 г. (Москва). С. 20-27.
  109. Германское языкознание сегодня // Вопросы германистики. Вып. VII. Пятигорск: ПГЛУ, 2005. С. 82-94.
  110. Рецензия на: N. Gamalova. La littérature comme lieu de rencontre: I. Annenskij, poète et critique – Université de Lyon, 2005 // Русский язык и межкультурная коммуникация (Пятигорск). 2005. № 1 (5). С. 168-171.
  111. [О себе] // ММК. Московский методологический кружок в лицах. Сост. М.С. Хромченко. М.: Фонд «Институт развития им. Г.П. Щедровицкого», 2006. С. 149-152.
  112. Относительное время в грамматике // Университетские чтения – 2006. Часть III. Пятигорск: ПГЛУ, 2006. С. 144-149.

113. (с С.А. Ореховой) Подсистема sollen/wollen в системе немецких модальных глаголов // Вопросы германистики. Юбилейный сборник научных работ. Вып. 8. Пятигорск: ПГЛУ, 2006. С. 74-84.
114. Принципиальные понятия для истории языка // Текст, речь, коммуникация. Вып. IV. Посвящается юбилею Р.И. Кусовой. Владикавказ: Изд-во СОГУ им. К. Хетагурова, 2006. С. 50-58.
115. Как работать в герменевтике с категорией «сознания»? // Понимание и рефлексия в образовании, культуре и коммуникации. Тверь: Издательство ТГУ, 2006. С. 120-132.
116. Работа логоса. Пятигорск: ПГФА, 2007. 177 с.
117. Доклады о мышлении (1-2). Герменевтика мышления – 1. Герменевтика мышления – 2 // Кентавр. Сетевой журнал / <http://www.circleplus.ru/content/summa/d1-2> печ. л. (2007).
118. Неопознанные грамматические объекты // Университетские чтения – 2007. Часть III. Пятигорск: ПГЛУ, 2007. С. 200-205.
119. Принципы эйренологии // Мир на Северном Кавказе через языки, образование, культуру. V международный конгресс 8-12 октября 2007 года. Симпозиум II. Социальное управление как средство достижения согласия, благосостояния и процветания в XXI веке. Социальная герменевтика. Пятигорск: ПГЛУ, 2007. С. 17-18.
120. Трудности поэтики // Герменевтика поэзии. Ред. И.П. Черкасова. Армавир: Изд-во АГУ, 2007. С. 4-16.
121. Герменевтика и поэзия // Герменевтика поэзии. Ред. И.П. Черкасова. Армавир: Изд-во АГУ, 2007. С. 152-253.
122. Понятое мышление // Кентавр. Методологический и игротехнический альманах (Москва). Вып. 40. 2007. С. 29-46.
123. Об университете будущего / Материалы Учёного совета ПГЛУ 19 декабря 2007 г. Пятигорск: ПГЛУ, 2007. 13 с.; также: <http://www.pglu.ru/innovation/inngr/material.php>.
124. Гегелевская метафизика // Вопросы германистики. Сборник научных трудов. Вып. IX. Пятигорск: ПГЛУ, 2007. С. 113-122.
125. Конструктивизм в герменевтике // Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология. 2007. № 29 [57]. С. 122-127.
126. Вопрос о границах лингвистики // Университетские чтения – 2008. 10-11 января 2008 г. Часть I: Пленарные заседания. Пятигорск: ПГЛУ, 2008. С. 55-63.
127. Трансфигурация цитаты в лексическое значение // Университетские чтения – 2008. 11-12 января 2008 г. Часть IV: Секции 9-12

- Симпозиума 1. Пятигорск: ПГЛУ, 2008. С. 41-47.
128. Гуманитарная философия Г.П. Щедровицкого. М.: Некоммерческий научный фонд «Институт развития им. Г.П. Щедровицкого», 2008. 408 с.
  129. Fremderfahrung als Funktion der interkulturellen Kompetenzausbildung // Дидактические принципы формирования компетенций межкультурной коммуникации. Пятигорск: ПГЛУ, 2008. С. 16-21.
  130. Реалистический идеализм инновационного мышления // Вестник Пятигорского государственного лингвистического университета. 2008. № 3. С. 340-349.
  131. К характерологии новогреческого артикля // Греческий язык в современном мире. Материалы научно-практической конференции 25 марта 2009 г. Пятигорск: ПГЛУ, 2009. С. 46-55.
  132. (с В.Л. Даниловой, А.К. Драгановым и О.В. Карасёвым) Методика как предмет проектирования / <http://www.pglu.ru/innovation/inngr/arhiv.php> – 11 стр. (2009).
  133. Иностраный язык как объект теории и как учебный предмет // Вестник Пятигорского государственного лингвистического университета. 2009. № 2. С. 401-404.
  134. Университет как генератор гуманитарных технологий // Вестник Пятигорского государственного лингвистического университета. 2009. № 3. С. 349-377.
  135. Questionnaire for a typology of double perfect constructions // Creative Innovations & Innovative Creations. PSLU Bulletin. 2009. № 1. P. 32-38.
  136. Феномен слова // Вестник Тверского государственного университета. № 29. Серия: Филология. Вып. 4. 2009. С. 101-119.
  137. Феноменология знака // Георгий Петрович Щедровицкий. Под ред. П.Г. Щедровицкого и В.Л. Даниловой. М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2010. С. 234-261.
  138. Университет против пошлой науки и пошлой практики // Атриум. Серия «Педагогика». 2010. № 6, февраль. С. 19-24.
  139. Один второстепенный вопрос об английском языке второй половины XVIII века в контексте первостепенной проблемы теоретической грамматики // Вопросы германистики. Сборник научных трудов [кафедры немецкой филологии]. Выпуск X. Пятигорск: ПГЛУ, 2010. С. 64-77.
  140. Информация, знание в анабиозе // Философские и культурологические проблемы информационных технологий и киберпро-



- странства. Пятигорск: ПГЛУ, 2010. С. 113-120.
141. Управление рисками – актуальная проблема социологии // Университетские чтения – 2010. Часть I. Пятигорск: ПГЛУ, 2010. С. 48-55.
  142. Социокультурный смысл инноватики в отображении на курс методологии лингвистики для магистратуры // Новации и инновации в образовании – II. Коллективная монография. Ред. Ю.С. Давыдов / ГАН РАО, НОУ ВПО МПСИ, ГОУ ВПО ПГЛУ. М.-Пятигорск, 2010. С. 129-139.
  143. Инновационный университет как научный центр. Третий научный отчёт группы проектирования инноваций (2009-10 акад. год) // Вестник Пятигорского государственного лингвистического университета. 2010. № 3. С. 309-329.
  144. Проектирование будущего университета. Пятигорск: ПГЛУ, 2010. 199 с.
  145. Герменевтический круг как мыслительная форма // Герменевтический круг: текст – смысл – интерпретация. Отв. ред. И.П. Черкасова. Армавир: РИЦ АГПА, 2011. С. 6-24.
  146. Перспектива лингвистического университета // Университетские чтения – 2011. Часть 1: Пленарные заседания. Пятигорск: ПГЛУ, 2011. С. 36-43.
  147. Несоответствующее слово *Materiatur* и его денотаты // Университетские чтения – 2011. Часть IV: Секции 9-12 Симпозиума 1. Пятигорск: ПГЛУ, 2011. С. 30-36.
  148. Событие Высоцкого: феноменология нового опыта // В поисках Высоцкого (ПГЛУ). 2011. № 3. С. 33-46.
  149. Технология как необходимое ограничение на инновацию // Инновационные технологии и креативность в исследовании и преподавании иностранных языков и культур. Пятигорск: ПГЛУ, 2011. С. 38-43.
  150. Образ выпускника университета в терминах компетенций // Гуманитарные технологии или Путь к новому университету. Отв. ред. А.Г. Авшаров. Пятигорск: ПГЛУ, 2012. С. 43-57.
  151. Как возможна теоретическая лексикология // Университетские чтения – 2012. 12-13 января 2012 г. Часть IV. Секции 9-11 симпозиума 1. Пятигорск: ПГЛУ, 2012. С. 82-87.
  152. Актуальность задачи Тьюринга (Can Machines Think?) // Философские проблемы информационных технологий и киберпространства. Сборник научных статей. Вып. 3. Пятигорск: ПГЛУ, 2012. С. 93-100.

153. Введение в методологию. Материалы к университетскому курсу. Пятигорск: ПГЛУ, 2013. 184 с.
154. Герменевтика совести // Герменевтический круг: текст, смысл, интерпретация. Вып. 2. Армавир-Пятигорск-Ставрополь: Изд. Армавирской государственной педагогической академии, 2013. С. 172-236.
155. Курс методологии в университете: учебное пособие и методика работы (К обоснованию жанровой инновации) // Вестник Пятигорского государственного лингвистического университета. 2013. № 2. С. 253-259.
156. Антропологический аспект в проблеме гуманитарных технологий // Вестник Пятигорского государственного лингвистического университета. 2013. № 3. С. 3-8.
157. (с Н.Л. Коршуновой, С.И. Котельниковым, О.И. Матяш и М.В. Рацем) Понятия фундаментального и прикладного и их приложение в науке // [Альманах] Наука. Инновации. Образование. М.: Языки славянской культуры, 2013. Вып. 14. С. 67-81.
158. Введение в методологию. Материалы к университетскому курсу. М.: Директ-Медиа, 2014. 184 с. (Переиздание № 153).
159. Минималистская программа для герменевтики // Герменевтический круг: текст – смысл – интерпретация. Вып. 3. Армавир-Ставрополь-Пятигорск: Изд. Армавирской государственной педагогической академии, 2014. С. 5-21.
160. Концептуализация совести // Герменевтический круг: текст – смысл – интерпретация. Вып. 4. Армавир-Пятигорск-Ставрополь: Изд. Армавирской государственной педагогической академии, 2015. С. 46-55.
161. Аспекты позитивной критики герменевтического разума // Герменевтический круг: текст – смысл – интерпретация. Вып. 4. Армавир – Пятигорск – Ставрополь: Изд. Армавирской государственной педагогической академии, 2015. С. 56-91.
162. Действительность Бога (религиозный опыт и гуманитарные технологии) // Герменевтический круг: текст – смысл – интерпретация. Вып. 5. Армавир: РИО АГПУ, 2017. С. 33-64.
163. Язык пираха в фокусе вопроса о межкультурной коммуникации // Актуальные проблемы лингвистики и лингводидактики в контексте межкультурной коммуникации. Сборник статей VI Международной научно-практической конференции, посвящённой юбилею АГПУ. 18-19 мая 2018 г. Армавир: Изд. АГПУ, 2018. С. 66-72.

Подписано в печать  
Формат 60×84<sup>1</sup> / . Бумага офсетная. Печать офсетная.  
Усл.-печ.л. . Уч.-изд.<sup>16</sup> . Тираж 50 экз. Заказ № .

---

ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный университет».  
357532, г. Пятигорск, пр. Калинина, 9.  
Отпечатано в Центре ОПИИД ФГБОУ ВО «ПГУ».  
Телефон: (8793) 400-157.